

Минувшие дни

Н. Я. ДЬЯКОНОВА



Факультет филологии и искусств
Санкт-Петербургского государственного университета

Нина Дьяконова

**МИНУВШИЕ
ДНИ**

Факультет филологии и искусств
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург
2009

Дьяконова, Н. Я.
 Д93 Минувшие дни. — СПб. : Факультет филологии и искусств
 СПбГУ, 2009. — 104 с., ил.

ISBN 978-5-8465-0928-3

Известный филолог, автор 15 книг об английской литературе, преподаватель с 75-летним стажем, Н. Я. Дьяконова вспоминает свою долгую жизнь, полную счастья и трагедий, свои встречи с великим юристом А. Ф. Конн и академиком М. П. Алексеевым, В. М. Жирмунским, Д. С. Лихачевым, дружбу с Ф. А. Вигдоровой, Е. Г. Эткиндом и многими другими замечательными людьми. Эта книга — о подлинности интеллекта, из поколения в поколение тинущей нотке знаний и культуры, несмотря ни на какие трудности.

ББК 84(2Рос=Рус)6

- © Н. Я. Дьяконова, 2009
 © Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009
 © С. В. Лебедянский, оформление, 2009

ISBN 978-5-8465-0928-3

Как многие старые люди, я часто рассказываю о том, что довелось видеть и слышать. В ответ мне говорят: «Об этом надо бы написать! Что́ нам сто́ит!»

Очень даже сто́ит! Статьи и рецензии писать привычно, а за это как братья? С какого конца? О чем можно и о чем нельзя? Что́ интересно, и что́ скучно? Что́ дозволено, и что́ не положено?

Понимаю, что, если решу толковать «о времени и о себе», предпочтение надо отдавать времени. Значит, о себе, даже о самом личном в себе, надо говорить столько, сколько нужно, чтобы понять время. Однако я знаю: у меня так не получится, не хватит ума и способности к отвлеченной мысли. Остается только стараться и заранее надеяться на снисхождение.

Я родилась 20 октября 1915 года в Петрограде. Петербургом его перестали называть с самого начала войны с Германией в 1914 году. Она вошла в историю как Первая мировая война, но тогда об этом не думали.

Мой отец, Яков Миронович Магазинер (1882—1961), происходил из бедной еврейской семьи, жившей в еврейской части города Харькова. Его ничем не примечательный отец набивал табаком папиросные гильзы. По случайности он женился на незаурядной девушке. Она была дочерью красивой жены еврейского торговца из Бердичева от польского офицера, сбежавшего туда после подавления восстания 1863 года. Одарив возлюбленную двумя девочками, офицер вернулся в Польшу, а она — к мужу и родила от него еще четверых детей.

Когда он внезапно умер, его овладело раскаяние. «В одном салоне» (со слов внучки офицера, моей тети) она лежала на его могиле с утра до вечера, пока не умерла от воспаления легких.

Когда выяснилось, что денег в семье мало, детей разобрали соседи, а старшие, «польские» девочки вышли замуж — одна за негоцианта из Москвы, другая, тринадцатилетняя, по имени Берта, — за папиросника



Отец, Яков Миронович Магазинер (1882–1961),
гимназист

Мирона из Харькова. Обаяние ее ума и красоты было так велико, что ей, вопреки официальным ограничениям образования для еврейских детей, удалось устроить четверых своих детей (трое умерли во младенчестве) в хорошую гимназию.

По окончании ее Яков, мой будущий отец, стал гувернером мальчика из немецкой аристократической семьи, владевшей имением под Харьковом. В красивого, одаренного девятнадцатилетнего юношу влюбилась сестра его ученика, Елена Мартыновна. Она была почти на десять лет старше, выйти замуж за бедного еврея она не могла, но во время их долгого романа приобщила его к немецкой культуре — поэзии, музыке, философии.

Елена Мартыновна оторвала папу от политики (он успел просидеть несколько месяцев в тюрьме за участие в студенческих беспорядках), помогла ему определить круг своих интересов. Он поступил на юриди-



Мать, Лидия Михайловна Магазинер (Футран) (1888–1987),
гимназистка

ческий факультет Санкт-Петербургского университета и закончил его с таким блеском, что получил предложение остаться работать там.

Условие было только одно: «креститься» — перейти в православие. Но это папа, несмотря на свои атеистические взгляды, считал позорным. Замечательные его учителя — прежде всего историк М. М. Ковалевский — помогли ему устроиться на работу по специальности и издать свою первую очень смелую книгу «Самодержавие народа»; в годы реакции после революции 1905 года она была «сожжена рукой палача», и он чудом избежал ареста.

Судьба его второй книги — «Общее учение о государстве», написанной в конце Гражданской войны в ледяной комнате, где можно было сидеть только в шубе, валенках и шапке, была не многим лучше перной. Ее изъяли из библиотек, а его выгнали из университета, где он с большим успехом



Родители, Лидия Михайловна и Яков Миронович, вскоре после женитьбы (1912)

преподавал с 1917 года. Его виной была последняя фраза в книге, — разбирая первую Конституцию РСФСР, он закончил словами: «Мы являемся свидетелями небывалого и неповторимого социального опыта».

С тех пор вся его жизнь была чередованием успехов и срывов, приглашений и увольнений. Но он до последнего дня оставался неутомимым тружеником, благородным и добрым человеком.

В 1912 году Яков Миронович женился на Лидии Михайловне Футран (1888—1987). Она была дочерью известного в Харькове врача и покорителя сердец. В городе его называли «красавец Футран». Своей женой, толстой и непримечательной, хотя неглупой и культурной, он открыто пренебрегал, дочерьми, Аней и Лидой, мало интересовался.

Между тем они обе были умны и способны. Об Ане скажу только, что жизнь ее сложилась трагически из-за тяжелого умственного расстройства ее единственного сына и из-за запрещения заниматься своей специальностью — юридическими науками: в 1921 году она опубликовала книгу «Дети-убийцы», изобличившую катастрофический рост детской преступности в годы революции и Гражданской войны. Последним ударом была слепота... После войны она и мой дядя, Савелий Миронович Рубашов (хирург и ученый), не вернулись в Питер и жили в Кишиневе.

После его смерти в 1957 году я стала раз-два в год ездить туда, чтобы поддержать тетю.

Моя мать, Лида, была в отроческие и юные годы убежденной социал-демократкой. Она получила юридическое образование в Сорбонне и до глубокой старости была адвокатом. Для нее французский язык был как для папы немецкий. Они оба часто вставляли в безупречную русскую речь иностранные слова, фразы и были космополитами не в грубом советском, а в истинном смысле — людьми европейской культуры.

По сравнению с папой мама была сдержанней, холоднее, расчетливей, практичней, но тоже мужественной, трудолюбивой, с сильным чувством долга и достоинства.

Мои родители героически боролись с трудностями петроградской жизни во время Октябрьской революции и военного коммунизма.

В моих первых воспоминаниях (1918 год) я живу в большой комнате — она называется «детская» — с мамой, папой, крошечной и очень крикливой сестричкой Лялей, с няней и бывшей «прислугой» Наташей, которой некуда деваться. Все остальная квартира заморожена, так как отключено центральное отопление.

Главная вещь в комнате — печка, низкая, четырехугольная, словно выделена из глины и ею вымазана. Ее длинная труба выходит прямо в окно. В этой печке готовится еда: ее не очень мало (для детей), но она некуская по сравнению с той, которую я еще помню.

В печку однажды попадает толстая пачка огромных картонных портретов новых правителей — большевиков, которую откуда-то, вместо гонора, приволок папа. Они, объясняет няня, во всем виноваты, например в том, что живем мы при свечках. Я с удовольствием сую портреты в печку.

Няня самая главная, а после нее — папа и мама, по-нашему, Либоб и Либоба. Мы их мало видим, потому что они целый день бегают за едой: папа где-то «служит» (что это такое, мы не знаем), а мама меняет всюкую одежду и белье на продукты. Один раз ее с криком «Держите гражданку!» чуть не схватил миллионер.

Все бедствия и уродства быта до нас с Лялей мало доходят. Мы живем своей жизнью, играем в свои игры. Вот большая радость: бабушка Берта и тетя Фаня (Фанния), папина старшая сестра, приносит огромные наволочки, набитые пухом. Это перыны, и под ними всегда ночью тепло, не нужны тяжелые шубы. И я рассказываю — на ходу придумываю — длинную историю, где добрые толстые Бабы Перыны полюбили двух девочек,



Нина Дьяконова в возрасте пяти лет (1920)

Нину и Лялю, и с ними пережили множество приключений. Подобным моим рассказам не было конца.

Осенью 1920 года (мне пять лет!) мама начинает меня учить читать. На столе появляются большие картонные буквы, но у меня они не складываются ни во что путное: «б-а = ба; б-а = ба», а «баба» не получается. Мама кричит: «Идиотка!», я с громким ревом бросаю на пол.

Надежды нет, пока мне не снится сон. Гигантское стекло в раме, похожее на нянины иконы. Под стеклом светятся мои буквы, а большая рука водит по этим буквам, и я громко читаю.

На другой день мама с изумлением слышит, как я бойко читаю. Уроки прекращаются, и я хватаюсь за книги.

«Задушевное слово», «Золотая библиотека», повести Лидии Чарской «Юркин хуторок», «Книжка Джавах», «Записки институтки», перевод с французского «Дедушка Кирилл и внучка», повести Луизы Олькот «Маленькие женщины» и «Маленькие мужчины».

Знаменитую книгу Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» я читаю уже в шесть с лишним лет и рыдаю так, что меня приходится отпивать холодной водой. До сих пор помню наизусть некоторые строки: «Она одержала победу без битвы, она стожала венец без борьбы». Я страстно мечтаю превратить свою жизнь в подвиг.

Тогда же, в шесть лет, началась моя педагогическая деятельность: я стала учить сестру читать. Разложила на детском столике буквы, заговорила по-взрослому. Но Ляля ударом ноги опрокинула столик и объявила: «Клянусь Богом! Я никогда не буду учиться читать!» Я шлепнула ее, она меня, и каждая очутилась в углу, по разные стороны шкафа.

Тем не менее, когда через год пришла к нам наша первая гувернантка, Ляля по слогам читала, а я гордилась больше, чем она.

К тому времени Гражданская война осталась позади, Ленин объявил новую экономическую политику (НЭП), разрешили мелкое частное производство, мелкую частную торговлю, на рынке можно было купить все — от ягод до нарядных платьев¹.

В домах включили отопление, у родителей появилась спальня, у папы кабинет, у всех столовая. Детская была теперь наша. В ее распечатанных окнах виднелась колокольня над домашней церковью в доме беспризорных детей на углу 9-й Рождественской (с 1924 года и до сих пор 9-й Советской) и Суворовского проспекта.

В эту комнату поздней осенью 1922 года пришла к нам учительница французского языка Ольга Николаевна Кроткова, высокая, худая, с большими глазами на изможденном лице. Мы сразу прозвали ее Мими.

Отец ее был русским консулом в Китае. Она никогда ничего не говорила, но он, по-видимому, был расстрелян советской властью. Ее фамилию и в школьные годы встречала в книгах Костомарова по истории России в перечислении политических деятелей XIX века.

Мими была талантливой, но своеобразной учительницей: к моему сердцу она стремительно отыскала путь, а Лилей интересовалась ровно столько, сколько было необходимо покор ради. По-французски мы стали болтать почти сразу; я читала книжки из «Bibliothèque rose», больше всего знаменитые повести госпожи де Сегюр (урожденной Ростопчиной) «Злоключения Софи», «Примерные девочки», «Каникулы».

¹ Помню популярную песенку тех лет:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Купите булочки, | И в ночь незастую |
| Гоните рубляки, | Меня несчастную, |
| Гоните рубляки, | Торговку частную, |
| Да поскорей! | Ты пожалей. |

Мими не позволяла нам будить ее раньше девяти, и мы подолгу томилась в постели в ожидании ее пробуждения. Меня спасало только то, что на меня лился из ближнего окна поток света, отраженного ко-локольской напротив. Я распушала волосы и радовалась их золотистому блеску.

Очень рано Мими повела со мной разговоры о религии. Увлечательно и просто она рассказывала историю Иисуса Христа и объясняла суть его учения. Как и потом поняла, она не придерживалась никакой определенной веры (еще менее — церкви): она излагала в простейшем виде основные истины христианства.

Никогда не забуду, как после особенно задумчивого разговора я со слезами сказала: «Я верю, что Иисус был сыном Божиим». Она обняла меня и объяснила, что в шестнадцать лет я буду креститься. И для меня началась новая, по-новому осмысленная жизнь. Всего, что меня от нее отталкивало, я стыдилась.

Через полтора года, весной 1924-го, Мими поссорилась с мамой. Она, как я потом узнала, была безнадолго влюблена в папу² — и по маминую распоряжению ушла из нашего дома. Отчаяние мое было ужасно. По вечерам я ложилась на покинутую ею постель и плакала, пока не засыпала.

Но тут наступило лето, и мы поехали (в шестой раз!) в любимое нами местечко Елизаветино. Там мы в самое страшное время спасались от голода, жили иногда до поздней осени, пока мама за хлеб и молоко отдавала местным крестьянам белье и одежду. По вечерам она читала нам вслух сказки братьев Гримм, дивно звучащие в теплой деревенской кухне.

Сказки переплетались с былыми: злой поросенок загонял нас с Лилей на самую дальнюю скамью, где мы долго ревели в ожидании помощи, но мы же, вооружившись палками, охраняли от него маму по дороге в дворовую уборную.

В 1924 году в Елизаветине съехались, кроме нашей семьи, еще три: переводчица Исяя Бенедиктовича Манделельштам, литератора Петра Константиновича Губера и исследователя Бориса Михайловича Эйхенбаума. Их дети (к ним присоединились и другие) целые дни играли с нами в затейливые, изобретательные игры, и я, пустоголовая дурочка, забыла о Христе и его провозвестии Мими.

До сих пор помню строки из ее французского письма: «Милый мой дружок! Я встретила папу в трамвае, и он сказал, что вы совсем не говорите по-французски. Меня это очень огорчает. Если вы забудете язык,

которому и вас учила, вы наверняка забудете и меня. На сердце у меня тяжело, и я почти не надеюсь на ответ»³.

Ответом действительно не было, а месяца через два я узнала, что Ольга Николаевна покончила с собой из-за несчастной любви. Тогда только до меня дошло, что я потеряла не только ее и французский язык, но и свою веру. Для девятилетней девочки сожаление об утраченной вере не очень обычно, и сохранилось оно десятки лет.

Уже в школьные годы бегу, привычно опаздывая, по Кировой и вдруг вижу вопреки Литгейного, в который она упирается, огромный крест. Останавливаюсь, как подстреленная: «Крест! Его крест! Сейчас я Его увижу!» И тут соображаю, что передо мной переплетение уличных столбов с фонарями. Разочарованная, продолжаю бег в школу и думаю: «А мне не все равно ли? Ведь я не верю, не верю, не могу верить».

Едва ли меньшее значение имел в моем развитии замечательный человек, тесно связанный с моим отцом и его старшей сестрой Фанни Мироновной Сметанич.

Получил благодаря своей матери диплом зубного врача в Харькове и став хозяйкой зубоорачебного кабинета, Фанни Мироновна поведала, что не имеет ни малейшего интереса к своей специальности. Она оставила кабинет одной из товаров по профессии и по социал-демократическим убеждениям и в первые годы нового века поехала в Петербург, где уже жил и учился ее любимый брат, мой отец. Она нашла место домоуправительницы в семье состоятельного биржевника, Осипа Семеновича Сметанича, вдова с тремя детьми, и вскоре вышла за него замуж. Один из ее пасынков был известным в тридцатые годы переводчик Валентин Стенич (Сметанич).

После свадьбы в 1906(?) году «молодые» — ей было уже лет двадцать шесть, а ему на шестнадцать лет больше — уехали справлять медовый месяц, а когда вернулись в свою квартиру в доме 26/28 по Каменноостровскому проспекту, тетя была сразу арестована.

На Шпалерной ей было предъявлено обвинение в государственной измене. Оказалось, что ее зубоорачебный кабинет в Харькове стал центром деятельности местной социал-демократической организации. Тете Фанни обвинение предъявлялось как владелице кабинета — и, стало быть, участнице.

Суд должен был состояться через два месяца в Харькове; дядя заплатил положенный залог и привез жену домой. Было ясно, что самый

² Мими написала папе признание, в котором буквы слова «любовно» размещались между шестью нарисованными копьями. Получалась игра слов «J'aime en six lances» — то есть «J'aime en silence» («любовно в молчании»).

³ «Ma douce petite amie! Papa m'a dit que vous ne parlez presque jamais Français. Ça me chagriner beaucoup. Si vous oubliez la langue que je vous ai enseignée, vous m'oubliez sûrement aussi. Fen ai le cœur bien gros, et je ne compte presque pas recevoir une réponse».

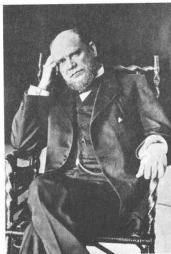


Тетя, Фанни Мионовна, и ее муж, Осип Семенович Сметанин (1908)

снисходительный приговор мог быть высылкой из Петербурга. Могло быть и тюремное заключение. Осип Семенович сказал, что в любом случае поедет за нею, и дал объявление о сдаче квартиры внаем.

Смотреть квартиру явился весьма известный юрист и литератор Анатолий Федорович Кони (1844—1927). Он вошел в историю как председатель суда присяжных по делу Веры Засулич. Она стреляла в генерал-губернатора Трепова за издевательство над политическим заключенным, которое довело его до самоубийства. Анатолий Федорович произнес такое сочувственное преступнице заключение по следствию, что присяжные, удалившись на совещание, объявили Засулич невиновной. Несмотря на вызванный этим процессом скандал, карьера А. Ф. Кони мало пострадала. Он стал членом Сената, автором популярных книг («На жизненном пути» и воспоминаний о великих русских писателях).

К Сметаничам он приехал на костылях и объяснил, что по состоянию здоровья нуждается в удобном, просторном жилище. Тете стало его очень жалко. Она послала мужа за чем-то в другую комнату, а сама подбежала к посетителю и быстро сказала: «Не берите эту квартиру — она сырая!»



Анатолий Федорович Кони (1844—1927)

Кони просил дядю зайти к нему на другой день за ответом. Отказавшись — с извинениями — от квартиры, он спросил, почему он и его жена хотят другую. Дядя рассказал ему о предстоящем суде. Кони выслушал его и сказал: «Председатель харьковского суда — мой университетский приятель. Я попрошу его снисхождения. Скажите только супруге, чтобы она надела все драгоценности, какие есть в доме, — по кольцу на каждом пальце, брошки, браслеты, серьги, ожерелья, надела бы оглушительное платье, шляпку с перьями и соболью пелернику, а главное — изобразила бы себя полной душой!»

Тетя в точности выполнила указания Анатолия Федоровича, и суд оправдал ее. Это стало началом пылкой дружбы, продолжавшейся до смерти его в 1927 году. Тетя ездила к нему на Надеждинскую (ныне улица Маяковского) с цветами и пирогами и, в свою очередь, приняла участие в его судьбе.

Анатолию Федоровичу была безмерно презана богатая дама Елена Васильевна Пономарева. Она бросила родной дом и город ради него, но он был к ней равнодушен, потребовал, чтобы она жила отдельно от него, и бывал у нее нечасто. Они стали жить вместе только после революции, когда в годы холода и голода изувеченный Анатолий Федорович стал нуждаться в ее помощи. Он был тем не менее очень с ней неласков, и тети всечески за нее заступалась. Анатолий Федорович сердился и говорил ей: «Я прикажу вас не принимать!»

С папой А. Ф. Коки был знаком по юридической части и высоко ставил его. У нас было несколько его книг с трогательными надписями — все они пропали во время войны. Я помню, как он однажды пришел к нам и жал наду, сидя на диване в его кабинете. А я (мне было лет пять-шесть) прыгала с этого дивана и говорила: «Ну почему ты не хочешь попробовать? Это так легко!»

Когда мне исполнилось семь лет, я стала ходить к Елене Васильевне на уроки музыки. И он каждый раз появлялся в ее комнате и приказывал подставлять «глазки» под его пощелки: «Один глазок (чмок!), другой глазок (чмок!), третий глазок...» — и каждый раз искусно удивлялся моему сожалению об отсутствии третьего.

С детства помню я свое чувство причастности к чему-то необыкновенному — к неправдоподобному книжному избытку, превышавшему книжные запасы нашего дома; помню картину Ге «Рождение Христа по водам». Она соответствовала моим тогдашним убеждениям и глубоко трогала.

Однажды меня на очередной урок привела мама, и он, беседуя с ней в своем кабинете, сказал: «Если бы Ниночке было двадцать лет и мне было бы двадцать лет, я бы не остался холостиком». Мама повторила мне его слова, я ужасно обрадовалась и стала бегать по квартире с криком: «Мне сделали предложение! Мне сделали предложение!»

Года через два, к моим девяти или десяти годам, уроки мои с Еленой Васильевной прекратились — они были явно не впрок. Меня отдали другой, более квалифицированной учительнице (в нашем доме), и встречи нашей семьи с Анатолием Федоровичем стали редкими. Последняя была ранней весной 1927 года. Мне шел двенадцатый год. Когда мы стали прощаться, я вдруг поняла, что он скоро умрет.

Дверь за нами закрылась. Папа и мама шли не спеша, а я бежала впереди с громким ревом. Через две недели Анатолий Федорович скончался. Мы всей семьей пришли на Надеждинскую. Его отпевали дома, торжественно и красиво.



Сестры Нана (справа) и Люба (1925)

Подобные впечатления, резко отличные от советской действительности, по-видимому, готовили меня к восприятию мира, не соответствующему официально господствующему. Наглядной иллюстрацией особого, «отдельного мира» была французская песня, услышанная мною в 1924 году, незадолго до моего девятого рождения во время вечерней поездки элизаветинской компании на лошадей:

Dans la prison de Nantes
Y avait un prisonnier.
Il ne voyait personne
Sauf la fille du géolier.
Elle lui portait à boire,
Boire et à manger.

Un jour il lui demande
La clef pour s'en aller.
Et lorsqu'il fut dehors,
Il se mit à chanter.

Dans la prison de Nantes...

Песню о нантском узнике я запомнила на всю жизнь. Хотя ей около двухсот лет, ее до сих пор включают во французские собрания старых

песен. Я перевела ее на английский и русский и научила детей и звуков петь разные ее варианты. Например, такой:

Томился бедный узник
Под сводом вечной тьмы.
И кроме дочки стража
Не видел ни души.
Она ему носила
И хлеба, и воды.

И принесла однажды
Ключ от его тюрьмы.
И радостно зашел он,
Уйдя от злой беды.

Томился бедный узник...

С осени 1924 года мама пригласила нам новую гувернантку, шестидесятилетнюю немку Елизавету Ивановну Братман. Она была полной противоположностью Мими — ограниченная, болтливая, самодовольная. Я сразу почувствовала, что слушать ее — одно мучение. Даже религиозные стихи и песни звучали в ее устах гадко и банально. Слова этого я не знала, но неуважение к ее декламации ощущала остро.

Всем своим обликом мадам, как мы ее называли, непрерывно напоминала мне о невозвратности пережитой утраты, утраты Мими, и вызвала у меня неведомое ранее раздражение — и раздражительность, с которой я до сих пор не справилась. Я выполняла ее требования с единственной мечтой: отделаться от них навсегда.

Желание мое скоро исполнилось: Елизавета Ивановна заболела и вынуждена была прекратить работу. Мне было уже почти десять лет, и пора было думать о школе. До этого, по программе родителей, мы должны были выучить третий, английский, язык (об этом расскажу позже) и получить общую подготовку «по всем предметам».

Родители сочли нужным отправить детей в одну из трех немецких школ города — «Анненшуде» (Кирочная, 8), потому что там преподавали три языка и все предметы, кроме русского и обществоведения, проходили на немецки. Нужна была учительница, знавшая полную программу «Анненшуде», включая математику.

Подготовкой нашей занималась добросовестная и разумная Магдаллина Георгиенна Штейгер. Благодаря ей мы с сестрой поздней весной 1927 года поступили — я в четвертый (+г+), сестра во второй (-б-) класс. Мама думала, что таким образом мы избавимся от экзаменов, необходимых для поступающих в начале учебного года. Но получилось только хуже: нас экзаменовали перед целым классом! Для девочек домашнего воспитания, непривычных к широкому общению, трудно придумать худшее испытание.

Но я очень быстро вошла в школьную жизнь, обзавелась подругами, с которыми дружила много лет. Главная из них, Ира Волынская, уже тогда

проявила что-то из своих будущих медицинских талантов: она очень трогательно ухаживала за мной, когда я в шестом классе заболела воспалением легких, едва не отправившим меня на тот свет.

Целую неделю у меня была температура 41. Папа и мама созывали консилиум врачей, добывали неслыханные лекарства; при мне день и ночь дежурила фельдшерша.

До сих пор помню свой тяжелый бред: папа лежит на полу, грязный и пыльный — для него это было не более возможно, чем для Антона Павловича Чехова, — я при свете свечи стою на коленях возле него, громко плачу и говорю: «Папочка, как мы с тобой близко папи!»

Потом я пришла в себя, поняла, что очнулась от бреда, и увидел около своей постели младшую сестру, сказала ей: «Ты знаешь, я, по-видимому, умру». — «Да?» — спросила она деловито. — «Сколько процентов?» (она отличалась способностями к математике). — «Пожалуй, около пятидесяти», — ответила я.

Сестра ушла, а я продолжала думать о смерти с полным спокойствием и равнодушием. Такие же чувства вызвала у меня близость смерти и в будущем. Мне было все равно. А теперь я мечтаю о ней как о желанном освобождении.

Тогда болезнь сделала меня такой слабой, что мне пришлось снова учиться ходить, и моя Ирошка подолгу шагала со мной. Это не помешало ей вскоре после моего выздоровления объявить, что она отказывается от меня и булет, она надеется, «хорошо дружить с Соней».

Несмотря на неожиданные расхождения — в том числе политические, когда она стала активной комсомолкой, а я была глубоко равнодушна к советским делам, — мы каждый раз... возвращались друг к другу.

В немецкой школе я проучилась только один год, после чего она на два года стала советской «трудовой» школой, в которой бушевала классовая борьба, закончившаяся увольнением директора, талантливого администратора и педагога, и двух лучших учительниц русского языка — Александры Викторовны Усаковской и Галины Васильевны Рубцовой.

Обе они стали для меня вечным образцом преподавательского искусства, и я на всю жизнь оставалась их подражательницей. Выгляди их из школы после долгой отрицательной травмы. В школьной стенгазете появились такие стишки:

А вот еще одна птичка —
Эстетичка!
Почтительница Толстого,
Галина Васильевна Рубцова.

После этого около десяти учеников нашего класса, тех, с кем она занималась дополнительно и даже ставила спектакль (весье Голлоуи), пришли к ней домой, но она не выпустила нас и только проверила, нет ли «наблюдателей» на лестнице.

Легко представить себе, с какими чувствами мы встретили сменившую Галину Васильевну учительницу, которая о каком-то персонаже сообщила, что у него «грудь была вся попересечена!» Так закончился мой седьмой класс.

Тогда же было объявлено, что седьмой класс для всей школы будет последним, а старшие классы станут гидротехникумом. Желавшим учиться в восьмом классе было предложено перейти в другую школу того же района — с химическим уклоном. Там я провела еще год, захлебываясь от химии и классовой борьбы.

Моя Ира Вольнская, услышав от меня рассказ о том, как в нашей компании отплясывали фокстрот на новогодней встрече, немедленно устроила гигантскую проработку виновных. Нам сообщили, что не исключают нас из школы только потому, что осталось всего несколько месяцев до ее закрытия. На мой горестный упрек — «Как ты могла!» — Ира ответила: «Платон мне друг, но истина дороже».

Школа действительно превратилась в химический техникум, и многие желавшие перешли в одну из трех школ города, сохранивших последние классы. Нам было по пятьдесят с лишним человек в классе, метод был бригадный — по каждому предмету отвечал один за всю группу; контрольные работы нагло списывали под носом преподавателя или, как я, получали шпаргалки. «Бездне! — думала я о немногих старательно решающих задачи, — им-то никто ничего не пришлет!» И все это происходило в одной из старых и ранее почтенных школ города — в «Петришуле», где теперь вновь открыт лютеранский храм.

По счастью, школа составляла лишь часть моей жизни, в которой главным было домашнее обучение. Папа служил в четырех учреждениях, мама берегла каждую копейку, но у детей были замечательные учителя.

Главной среди них была Вера Игнатьевна Балниская, учившая нас пять лет, с 1926 до 1931 года. Это была чрезвычайно незаурядная личность. Ее дед со стороны отца был пенкватр Балниский, а бабушка с материнской стороны — учредительница первой в Петербурге женской гимназии Субботина. Ее отец и брат, белые офицеры, были расстреляны во время Гражданской войны.

Благодаря отличному знанию английского языка (у нее много лет была гувернантка-англичанка мисс Мейба), ее приняли на чудом уцелевшие до конца тридцатых годов Высшие государственные курсы иностран-

ных языков; впоследствии она стала заведовать ими и продолжала даже тогда, когда их преобразовали во Второй педагогический институт иностранных языков.

Вера Игнатьевна начала свои уроки мне и сестре с того, что за один осенний месяц в корне переделала отпатристичное произношение, которым нас наделила за три летних месяца наша первая английская учительница Наталья Ивановна Кузьмина (она покончила с собой в декабре 1934 года, когда после убийства Кирова из Ленинграда стали выселять бывших дворян).

Уроки Веры Игнатьевны были такие замечательные, что, когда на последние двадцать минут приходила заниматься не знавшая английского мама, мы с Лялей бурно протестовали. Мы плакали над книжками, которые она давала нам читать, восхищаясь ее скромными брелоками и заказными, которые ей в следующий раз надеть, заставляли много раз повторять рассказы о времени, когда она была маленькая, с восторгом ездила к ней в гости и с ней в Царское Село. Ее озорные глаза все про нас знали и понимали.

Через пять лет она шутя сказала: «Мне нечему больше тебя учить. Поступай на курсы иностранных языков». И я, шестнадцатилетняя девочка, держала приемные экзамены вместе с тридцатилетними и сорокалетними дамами, надумавшими учиться после того, как вырастили детей. Меня приняли на шестой из восьми семестров и в январе 1933 года выпустили с дипломом преподавателя и переводчика.

Главной трудностью были «пробные уроки». Их надо было давать в младших группах курсов в присутствии соучеников и преподавателей. Перед уроками я волновалась до смерти — бегала по длинному коридору Института имени Герцена, где помещались тогда наши курсы. Однако, как только прозвенел звонок и я очутилась в своей группе, я сразу успокоилась и вспомнила Вронского верхом на Фру-Фру. «Милые, хорошие», — говорила я про себя, а они словно слышали меня, ужасно старались — и после урока громко аплодировали.

Всем этим я обязана была Вере Игнатьевне. Я еще в школе понимала, что буду преподавать. В характеристиках школьных учителей, сохранившихся в моих дневниках, звучит профессиональная критика — вплоть до: «Я вижу у Ады Константиновны много своих будущих педагогических недостатков».

Через три года Вера Игнатьевна пригласила меня преподавать на курсы, и я старалась быть такой, как она. От нее же я слышала самый большой комплимент. «Ты очень хорошо работаешь с дураками!» — сказала она в ответ на мою жалобу, что она, вопреки собственному обещанию, в третий раз дала мне самую слабую группу.

Как бы сильно ни воздействовали Вера Игнатьевна и мои забывенные школьные учительницы Александра Викторовна и Галина Васильевна на мое умственное и профессиональное развитие, я еще больше была во власти эмоций.

С семи лет я стала обожать соученицу по группе ритмической гимнастики, дочку палиного коллеги Лелю Добрыню. Помню, идем мы по Кировной в Таврический сад. Стади идут наши гувернантки. Леля вдруг говорит: «Я много думала и поняла, что твое ко мне отношение не настоящее — в нем нет любви».

Вместо ответа я бросилась бежать по аллее сада. От гори я, неуклокая, бежала быстрее, чем быстроногая Леля: я успела броситься на покрытый льдом пруд — довольно далеко от ворот — и начать биться о него головой, прежде чем она меня догнала. «Que fais-tu? Que fais-tu?» («Что ты делаешь?») — твердила она, пытаясь меня остановить.

Вскоре ее отец был командирован в Лондон, и она уехала — навсегда. Мы обменивались письмами: ее были полны рассказов, мои — воплями о любви (ее английская фотография до сих пор висит над моим диваном). Но тут опустился «железный занавес», и мы увиделись только в 1988 году. Ее муж был членом парламента, «сэр»ом, она — леди; они утощали нас в кафе у палаты лордов, водили по Лондону. О наших юных днях она не помнила ничего.

Из моих школьных привязанностей самой глубокой была, как я уже писала, Ира Вольнская. Она потом стала превосходным врачом. Несмотря на столкновения и долгие разлуки, наша дружба продолжалась до ее смерти от туберкулеза 5 мая 1946 года. Она понимала, что умирает, и однажды сказала мне: «Я уже ничего не сделаю. Ты должна работать за двоих».

Были у меня в школьные годы несчастные увлечения мальчиками, равнодушными к странной, старомодной девочке. Ее синие глаза и золотые волосы не укутали толстые ноги и недовую фигуру. Единичные успехи в школе и Крымском доме отдыха не убеждали. Слезы мои лились вдрами!

Я всегда страдала от собственной неприкасаемости и только в пятнадцать лет, грустно глядя в зеркало, вдруг увидела очень приятное лицо. Я бросилась к сестре: «Лили! Ты знаешь, я хорошенькая!» «Ну да!» — ответила она. «Да ты посмотри!» — заорала я. Она взглядела и растерянно проговорила: «Да, пожалуй!»

Летом 1931 года, в Крыму, в меня влюбился скулытор, на двенадцать лет старше. Но я была влюблена не в него, а в любовь и, вернувшись в Ленинград, сразу разлюбила. Как сказал ему в утешение мой папа: «Их пол такон!»

Моей первой серьезной взаимной любовью был славный, добрый, истерзаный советской властью сын священника Алеша Архангельский. Роман наш начался в девятом классе, продолжался в университетские годы и даже вновь ожил уже в зрелом возрасте.

Страдая от неразделенной любви, я нередко вымывала к себе чувствую тех, кто мне не был мил, и с удовольствием рассматривала свой «донжуанский» список. Последние школьные и университетские годы были полны многообразного общения и нессяаемого интереса к душевной сложности людей, в разной мере мне близких.

В эти годы очень сильно было мое увлечение поэзией — более всего поздней Серебряного века. Вместе с умной подружкой Шурой Хейфец я искала и читала все, что могла. Особенно покорила нас Блок, а за ним Гумилев, Ахматова, Мандельштам.

Моя старшая подруга из старой дворянской семьи Тата Чикалина (она умерла во время войны) приносила мне переписанные ее родителями запрещенные стихи. Среди них была поэма «Аврора» Георгия Маслова, белого офицера, погибшего во время Гражданской войны.

Трагическая история красавицы пушкинских времен Авроры Шернваль, любовь которой носла блаженство и гибель, рассказана ее последней жертвой:

И пред глазами роковыми,
Нежданной встречю гора,
Тырку пленительное имя,
Сивюшее, как заря.

Увлечение поэзией готовило меня к будущему филологическому образованию.

Большой след оставило в моем развитии лето 1932 года. После грустных недель в деревне Тушин Остров, где я оплакивала разрыв с Алешей и разлекалась пением старых песен в хоре местных девочек, я поехала в Костебель с мамой и мамой.

Мы жили в доме отдыха писателей в атмосфере вежливого доброжелательства, когда вдруг обитатели дома разделились на две части: одна (буржуазная) приняла участие в похоронах поэта и художника Максимилиана Волошина, другая (пролетарская) с негодованием воздержалась.

Мы прикнули к первым. С изумлением я поднималась на высокие холмы (или мини-горы) над одним из самых красивых заливов, где поэт завещал себи похоронить. Лошадки, которые везли гроб, надрывались и

чуть не падали. Гроб опустили в готовую могилу. Актер прочел стихи Баратынского на смерть Гете:

Свершилось! И старец великий смежил
Орлиные очи в покое...
Почей безмятежно, заны совершил
В пределах земных все земное...

Все стали расходиться, а я, от долгого напряжения тишины, бежала вниз с горы, пока меня не остановили Василий Алексеевич Десницкий и Борис Михайлович Эйхенбаум. Они меня не отпустили от себя, и я с интересом слушала их разговор.

После возвращения из Коктебеля я стала студенткой. В течение многих лет я была одновременно и учащейся, и учительницей. За полгода я окончила курсы иностранных языков (выпуск курсов состоялся всего на несколько месяцев позже школьного) и первый семестр в Ленинградском историко-лингвистическом институте (ЛИЛИ), впоследствии восстановленном как филологический факультет университета. Стучилось так, что институтский профессор фонетики Семен Карлович Боянус, создатель первых квалифицированных англо-русского и русско-английского словарей, хорошо знал меня по Курсам иностранных языков. Увидев меня на занятиях в институте, где только приступали к азам английского, он приказал мне задержаться и накрикнул на меня с громким криком: «Зачем вы к этим безграмотным идиотам пришли? Ведь их сюда взяли только потому, что для пролетариев экзамен отменен!» (На самом деле я попала в институт только потому, что Сталин, нуждаясь в специалистах, строителях «пятилеток», приравнял к рабочим научных работников и для их детей тоже отменил экзамен.)

Я растерянно отвечала, что мама считает необходимым общее образование. «Тогда пусть он придет поговорить со мной!» — И дал свой домашний телефон.

Планино очарование, по-видимому, подействовало, и после следующего урока Семен Карлович сказал: «Ну уж ладно! Учитесь здесь, если хотите! Но с одним условием: три раза в неделю вы по два часа будете заниматься английским с четырьмя-пятью худшими из этих болванов». И так оно и было! Изюм всех сил я учила «болванов», и все они перешли на следующий курс, по мне, за непосеппение его занятий, Боянус поставил «четверку».

«Семен Карлович! Почему? Вы же сами сказали, чтобы я к вам не ходила! Я же слушала все это раньше!» — «Мало ли что я сказал! Вы сами должны были понимать и приходиться!»

Я спряталась в уголочек в прихожей и стала плакать. Все ушли, и оказалось, я заперта в кабинете фонетики, на втором этаже. Я села на окошко, выходящее в переулочек, и мне помогли выбраться мимо идущие мальчишки.

Занятия мои с соучениками продолжались два года. В это время нас ничему толком не учили, кроме английского, а душили политической экономией, диалектическим материализмом, экономической политикой. Единственный курс по английской литературе назначали с эпохи империализма и преподавали исключительно глупой преподавательницей. «Это и диалектически правильно», — говорила она для души убедительности на каждой лекции.

Положение изменилось только на III курсе в 1934/35 учебном году. Деканом лингвистического (тогда еще языковедческого) отделения стал Владимир Фелорович Шинмарев, преподавать литературу начали Виктор Максимович Жирмуновский, Михаил Павлович Алексеев, Александр Александрович Смирнов.

Мы слышали интеллигентную русскую речь, ссылки на иностранные издания, на иноязычных авторов; нас не глушили цитатами из Ленина и Сталина и надоевшими до отвращения ссылками на экономнику и политику.

Под натиском старой образованности слабые студенты стали покидать факультеты — уже больше не «отделения». Ушли и мои подопечные. Тогда папа устроил меня преподавать английский язык и работать консультантом в Институт восточных языков, где я безо всякого удовольствия выдержала два года, совпавшие с обучением на III и IV курсах.

Тогда же я на короткий срок стала общественницей. Стучилось это так. В конце моего III курса мне позвонил Толя Ляховский, сын гимназической подружки моей тети Фанни и папы. На восемь лет старше меня, он был специалистом по новейшей истории и популярным лектором, истово перурующим коммунистом. К нам с Лялей он относился как к младшим сестрам и называл Лялише и Ниношце. «Немедленно приезжай!», — сказал он. Я тут же явилась. Он, не теряя времени, сообщил мне, что партия назначила его обследовать состояние Института восточных языков, и он, среди прочего, спросил обо мне. «Тебя похвалили за старательность, но знаешь, что они про тебя сказали? — Я выпучила глаза. — Они сказали, что ты — барышня!»

Интонация его больше подходила к другому слову на эту букву, и он, видимо, считал, что одно стбит другого. За этим последовала долгая страстная речь, объяснявшая мне, как преступно чужда я великим задачам

моей родины, воплощению идеалов общего равенства и благополучия. Он требовал от меня участия в общественной работе, выступления в комсомол.

Я была потрясена сознанием собственного ничтожества, стала исто-во читать газеты, с удовольствием приняла назначение на должность секретари профбюро и была крайне польщена приглашением на комсомольские собрания. «Кому же, как не таким, как ты, поступать?» — говорили мне.

Однажды — это было в середине IV курса — я, как обычно, прогуливалась по нашим длинным коридорам под ручку с моей любимой подружкой Наташей Амосовой и поведала ей о своем намерении. «Что? — закричала она. — В комсомол?!» — и выдернула свою руку из моей. «Нет, нет, — поспешила я, — я нигде не поступаю!» «То-то!» — ответила Наташа, проленила руку сквозь мою и продолжала начатый ранее разговор. До конца дней она изредка спрашивала: «Кто тебя спас от комсомола?» И на мои благодарные восклицания удовлетворенно ухмылялась.

Она не только была гораздо умней меня, но и много осведомленней: отец ее подруги был осужден по первому («Шахтинскому») из грандиозных процессов конца двадцатых и начала тридцатых годов, и она знала, какая ложь, фальсификация, подлость и жестокость сопровождают деятельность следственных органов.

Наша дружба началась еще на I курсе. Я восхищалась ее поэтическим и музыкальным талантами, блеском ее остроумия и на одном из семинарских занятий написала ей: «Предлагаю тебе руку и сердце». Она ответила: «Принимаю с удовольствием, если они останутся моими на всю жизнь». Я обрадовалась: «Дружить будем как минимум до смерти». Она умерла в 1966 году.

Одновременно с общественными и педагогическими обязанностями я с величайшим усердием занималась не лингвистикой, а литературой на своем факультете и «экстерном» на литературном. Получилось это так.

На семинаре моей английской группы еще в конце II курса я сделала доклад о романах Одюса Хаксли 1920-х годов. Доклад неожиданно оказался складным и интересным, и я поняла, что только литературе я могу отдать свое сердце. Когда я пошла к декану лингвистического факультета с просьбой отпустить меня на литературный, он ответил категорическим отказом. Но милостя его секретарша Зиночка шепнула: «Учись экстерном».

Я послушалась, и на III курсе одновременно начались первая «официальная» оплачиваемая (пусть копеечная!) работа в Институте восточных языков и занятия на двух факультетах.

Мало того! На III курсе по инициативе нашей преподавательницы английского языка, влюбившейся в красавца студента, мужа моей подружки Галки Ошаниной, мы затеяли ставить по-английски пьесу Оскара Уайльда «Веер леди Виндлермир».

Благодаря нашей соученице Лиле Колдаккой, супруге председателя Ленсовета, нами руководил режиссер из Александринского театра. Оттуда же нам дали напрокат нужные платья и костюмы.

Наша преподавательница также участвовала в спектакле в роли герцогини. В конце одного из спектаклей — мы выступали, кроме института, в Доме ученых и Доме Красной Армии — чуть было не разразился скандал: наш красавец (лорд Виндлермир) в нужный момент не вышел на сцену. После обмена придуманными фразами моя партнерша, леди Виндлермир, пошла звать «мужа»: за занавесом лорд Виндлермир и герцогиня Беррик бурно целовались.

Несмотря на чудовищную занятость — даже время для сна приходилось высчитывать скупо — жизнь моя была богата дружбой и любовью. Наш роман с Игорем Дьяконовым начался еще в конце II курса (об этом дальше), а на IV курсе мы оба примкнули к блестящей компании из девяти человек, учившихся на литературном факультете.

Не буду называть всех, хотя все этого достойны. Самым необыкновенным из них был Шура Выгодский, сын известного офтальмолога. Удивительно начитанный в литературе на четырех языках и влюбленный в науку, способный к отвлеченной философской мысли — он был, однако, необычайно внимателен к окружающим.

Когда мы всей компанией готовились к несостоявшемуся экзамену по марксистско-ленинской философии, кто-то читал вопросы, и все кричали: «Знаем, знаем!» Но Шура уголком глаза смотрел на меня, читал на моем лице отчаяние незнания и говорил: «А все ли помнят?» — и в одном предложении выражал всю суть вопроса. И так по всему списку: «А все ли помнят?»

Одна из участниц компании (только она и я еще живы!) Анка Эмме (немка) как-то сказала Шуре и другому замечательному нашему товарищу Яше Бабушкину: «Я не понимаю, почему вы в анкете пишете "еврей"! Вы не знаете ни одного еврейского слова, вы помещались на русской стране, ее языке, ее культуре — почему вы еврей?» Шура ответил: «Пока евреев преследуют, я еврей».

В двадцать пять лет он был заместителем Яши, ответственного за литературные передачи по радио. Когда началась война, он с большим трудом снял с себя броню и пошел на фронт, где вскоре был убит под Смоленском. Он написал замечательную диссертацию, но мать его потеряла рукопись во время эвакуации из блокадного Ленинграда.



Слева направо: Юра Фридендер, Яша Бабушкин,
Ляля Ильинская, Шура Витковский (1936)

Погиб на фронте и Яша, отличавшийся от Шуры энергией практического ума и жизнелюбием.

Не был взят в армию, но загнан в трудовой лагерь как немец другой наш друг, поразительный по талантливости, учености и интересам к теоретическим проблемам, Георгий Михайлович Фридендер, будущий академик. Он выжил чудом. После войны он один сделал то, что вырвались сделать вместе с ним его товарищи, еще на студенческой скамье написавшие книгу против вульгарной социологии.

Не воевал по крайней слабости зрения и Воля Римский-Корсаков, звук композитора, талантливый переводчик и литературовед. Он был немного наивен, но понимал это. В ответ на мою реакцию: «Воля, ты прелесть!» — он говорил: «Теперь я знаю, что сказал глупость». Он сменял Шуру на радио, но не справился с голодом. Когда моя сестра привела его навестить в больницу и принесла что-то съестное, он сказал: «Мне уже не поможет, отдайте этому мальчику».

Один из членов компании (его я меньше знала) — Гриша Тмарченко написал о своих друзьях в мемуарах. В них, вполне заслуженно, много говорится о главной нашей чаровнице Ольге Игоревне (Ляле) Ильинской. Наташа Амосова и я приметили ее задолго до знакомства. Она была внешне похожа на знаменитую актрису Комиссаржевскую, и мы ее так и называли — и всегда радовались, когда видели. «Иди скорей! — кричала Наташа. — Комиссаржевская курит в уборной!»

У Ляли Ильинской были явные актерские способности. До сих пор помню, как она падала на пол, изображая срубленное дерево, как она

подметала комнату своего второго мужа Яши Бабушкина, хлопая метелкой по толстым томам Маркса и Энгельса, на которых еле держалась его — и ее — постель.

Отец ее хорошо пел и во время Гражданской войны был подсажен в товарный вагон, перевозивший солдат Красной Армии. Они спросили своего неизвестного пассажира, кто он, и, услышав, что певец, приказали спеть. Его изящный романс не понравился. Ему велели послушать настоящую, рабочую песню. И хором запели:

Куд-куд-куды-куды вы удалились,
Весны моей златые дни?
Пад-пад-падк, паду ли я под пули,
Иль мимо пролетят они.

Сама Ляля пела очень хорошо на наших встречах, и мы дружно подпевали ей:

Товарищ, дай мне руку,
Пождем, пождем, пождем,
И горькую разлу-у-ку
Вином, вином зальем.
Возму на свете мера,
Возму есть свой конец...
Да хвастает мадера,
Создания венец.
В чем счастье земное?
Любить, играть и петь,
Забудем остальное,
Всем надо умереть.

Товарищ, дай мне руку,
Пождем, пождем, пождем,
И горькую разлуку
Вином, вином зальем.

И мы жали друг другу руки и пили то небольшое, что могли купить.

Игорь и я были в содружестве Ляли Ильинской и ее поклонников немного с краю, но они признавали нас за своих, а когда мы женились, стали бывать у нас.

С Игорем (Гарнком, как его называли дома) мы впервые встретились еще в Коктебеле и узнали, что оба подали заявления в ЛИЛИ. Там мы учились на разных факультетах: он на историческом, а я на



Игорь Михайлович Дьяконов (1915–1999). Фото 1935 г.

лингвистическом, в одной группе с Галкой Ошаниной. Она была дочерью друга семейства Дьяконовых, Льва Васильевича, выдающегося антрополога и этнографа, которого советская власть долго топила — выгоняла с работы и арестовывала за верность генетике и критику ее неужестивленного испровергателя Лысенко. Только в шестидесятые годы, незадолго до смерти, ему удалось выпустить несколько своих книг.

Игорь относился ко мне иронически. Встречая меня в коридоре, он говорил: «Как? Ты одна? Где же твои воздыхатели?» Не буду вносить о нем подробно. В качестве рассказчика я не выдержу сравнения с ним самим. Он изложил нашу общую историю в своей «Книге воспоминаний» (1995).

Скажу только, что никогда не была достойна человека такого необыкновенного ума, образованности, порядочности.

Наш роман начался с длинной прогулки 19 апреля 1934 года (после нее я засела за свой доклад о Хаксли!) и завершился свадьбой 22 июня 1936 года.

Свадебных торжеств было два: одно в виде обеда у Дьяконовых, другое в виде ужина у Магазиновых. Все это было после регистрации брака в ЗАГСе, при каковой невеста была в розовом платье, переделанном и перекрашенном из бабушкиной чесучевой юбки, а жених — в браках своего старшего брата, ибо на его собственных штанах были две заплатки.

В ЗАГСе одновременно регистрировали также рождения и смерти. Стояла очередь, но мы пропустили свою: изнемогли от жажды, пошли за лимонадом на улицу. Пришлось запомнить новую. «Вечная» нас дама спросила только, осведомлены ли мы о здоровье друг друга, — и тут же поставила нужные печати.

После нескольких дней лихорадочной подготовки — закупки кастрюль, чайника, посуды — наступили два медовых месяца на хуторе Зеленое озеро в деревне Шалово Лужского района.

Все там было прекрасно. Частью трогательной декорации была даже стоящая особняком уборная. Как-то во время моего посещения ее хлынул дождь, и Игорь ждал меня у выхода с открытым зонтиком.

Радости любви перекрывали хозяйственные трудности: ни Игорь, ни я понятия не имели не то что как готовить, но даже как зажигать керосинку; за продуктами надо было ходить рано утром и стоять в очереди за дешевым и плохим.

Никогда не забуду, с каким благодарным облегчением я услышала, как наш друг Шура Выгодский, приглашенный к обеду вместе с Волей Римским-Корсаковым (они жили на даче в семи километрах от нас), сказал очень серьезно: «У этого борща необыкновенно тонкий и нежный вкус». Увы, это было сильное преувеличение. Скверным кулинаром я остаюсь навсегда. («У тетишки, — говорил много лет спустя мой любимый племянник Андрей Михайлович Дьяконов, — получается или „супаш“ или „кашуп“!» Увы, именно так!)

Прогулки, купание, чтение слух, норвежские уроки Игоря, посылки, признания наполняли дни и ночи до отказа, и уезжали мы, едва не плача.

Вот прощальные стихи Игоря:

Покрты мягкие холмы
Ковром мохнатым, скоро осень.
Над озером склонились мы,
Где синь небес и зелень осен.

Друг другом горды и богаты,
От этих сосен и долин
Мы донесем свои пенаты
В тот неизбежный край седин,

Тде будем вместе, я и ты,
Как наше озеро чисты,
Примей душою этих сосен,
Как переск, цветом встретим осень.

По моей вине эта «мечта изменила, как всякая мечта». Но в то лето я любила и переделала, совсем немного, прощальную песню американских негров из Кентукки, которой научил меня Игорь.

Weep no more, my lady,
Oh weep no more to-day!
We shall sing one song for our little forest-home,
For our little forest-home far away.

Теперь английский, хотя бы понемногу, знают почти все, и переводить не надо.

С осени начались оплаканные в песне тяжелые времена. Мы вели трудовую будничную жизнь в моей, чуждой Игорю семье. У нас была большая отдельная комната, из которой самоотверженно ушла в столовую моя сестра; только через четыре месяца ей досталась комната нашего жилья, когда его пустила к себе моя одолевшая тетя Фаиня, не имевшая права на две комнаты.

Нам были выданы одеяла (одно привез Игорь), подушки, две смены белья. Питались мы на свои ужасно скудные деньги (две микропенсионки, моя зарплата и Игоревы нечестные, мажоресенькие платы за экскурсии для школьников по отделу Востока в Эрмитаже).

Обед, за отдельную плату, стирала мамина крайне антигигиеничная домработница. По воскресеньям нас приглашали к обеду мои родители, и ежедневно мы пили у них девятичасовой чай. Все это было очень экономно: каждому полагалось по две конфеты, по три печенники, ломтики хлеба с маслом, но без сыра и колбасы.

У моих родителей тоже были весьма скромные зарплаты, и уходили они на оплату квартиры, домработницы и панинного лечения. Мама покупала для всех одежду, в том числе и для Игоря, чтобы он мог вернуть брату штаны. Но всего этого было мало, мало, мало.

У меня, двадцатилетней красотки, было три платя: одно новое, шерстяное, темно-красное, но мама не разрешала носить его в будние дни, одно «брючно-жилетное» (из панинных объедков, как выражалась моя

сестра) — его я носила пять лет в школе и пять в институте, и одно бархатное, переделанное из бабушкиного.

Кроме того, были еще шерстяная визанская кофта, привезенная из Риги в 1925 году, «бумажный» (то есть не шерстяной) джемпер и три блузки. Даже чулки выдавались мамой по счету вместе с парой туфель и двумя парами галоз и ботинок. Все это казалось вполне естественным. Нехватка ощущалась всеми всеюду и всею.

Нужда не мешала напряженной работе: и кончала пятый год обучения по двум факультетам, подготовила для местной институтской печати конспект лекций профессора Алексеева; по приглашению Веры Игнатьевны я стала преподавателем оконченных мною в 1933 году Курсов иностранных языков. Руководила ими Вера Игнатьевна, посещала многие уроки и строго наставляла.

Ученицы мои были все старше меня на десять, а то и двадцать лет, но несли мою старательность и живость. Помню урок «разговора» (это был отдельный английский «предмет», наряду с домашним и обязательным чтением, фонетикой, грамматикой), на котором мои студентки рассказывали мне, как проходили педагогическую практику в школе.

Они жаловались, что ребята изводили их вопросами типа: «Как по-английски *любовь*?» Я сказала, что этим чертенятам наплевать на знание слова; не надо признаваться в незнании, а отвечать без колебаний: «*Любовь по-английски крокодил*». Все засмеялись, и урок продолжался, а к концу его меня спросили: «Как по-английски *зловещность*?» Я затруднилась с ответом, и кто-то тихонько вымолвил: «Разве не *крокодил*?» Все засмеялись снова, и я сказала: «Боюсь, что нет. Погодите, в перерыве я спрошу миссис Сиверс», преподававшую у нас старую англчанку.

В конце года вместе с подругами Наташей Амосовой (Талкой) и Галкой Ошаниной-Майской, которая после крушения своего первого брака вышла замуж за крупного партийного деятеля Майского, вскоре уничтоженного советской властью, я до умопомрачения готовилась к государственному экзамену.

Мы очень устали, и Наташа стала искать любой предлог, чтобы отвлечься от несносной зубрежки. «Наташа одна взглянула на меня и закричала: «Посмотри! У Нины глаза горят синим огнем!» Ничего из этой попытки не вышло. Галка вразумила ее: «Вот и слава Богу! Читай, дуся!»

Экзамены мы сдали благополучно и получили диплом университета, в который отмежевавшиеся от него институты стали возвращаться в виде факультетов.



Слева направо: Бая Ошанина, Наташа Амосова и Нина Дьяконова (1937)

Как и все мои близкие друзья, я мечтала об аспирантуре и была выдвинута двумя кафедрами, лингвистической и литературной. Нам объявили, что все мы как «прочные отличные» студенты приняты без экзаменов, и заплатили нам авансом стипендию (помню крупную по тем временам цифру — сто рублей). Тогда моя подруга Наташа Амосова позвала меня провести с ней десять дней в Павловске, у знакомой ее мамы. Это была сплошная радость, нескончаемый смех.

По вечерам я читала ей вслух «Королеву Марго» Дюма (по-французски), и мы писали веселый дневник. Одна лишь запись свидетельствовала о серьезном споре в связи с прочитанным мною сочинением о Диккенсе. Наташа (Талка) обвинила меня в отсутствии обобщений. Я отвечала, что у меня для этого недостаточно знаний. Талка сказала, что обобщающая идея должна сопутствовать любому исследованию. Привожу запись из дневника по памяти:

«Вчера не записали ничего, потому что были злые. Надрывались по поводу обобщений в науке. Н. сказала, что этак можно Бог знает до чего дойти, дуся! Вчера у нас было холодно, и мы целый вечер бегали; сегодня у нас протопили, и мы не бегали совсем. Выходит, что на холоде

жидкости текут, а в тепле замораживаются. Н. язвительно пояснила, что это физический абсурд».

Вернувшись из Павловска, мы узнали, что почти всем из нашей компании Москва отказала в аспирантуре, и мы можем отправиться восвояси.

Мы дружно решили ехать в Москву и бороться за справедливость. Неутомимо ходили в Народный комиссариат просвещения и в Комитет по делам высшей школы и добились пересмотра нашего дела.

Мы все пришли в университет, но вызвали только меня — на комиссию из двадцати человек — всех «главных» из комитета и университета. У меня голова пошла кругом. А спрашивали только так: «Кто сейчас наркомом тяжелой промышленности, сельского хозяйства, среднего образования?» Но все наркомы в эту эпоху «великого террора» были расстреляны как вредители! Как могла я помнить новых, вчера назначенных? Или: «Каково решение партии по поводу врагов народа? Какие последние мероприятия по борьбе с фашизмом?» Я была совершенно уничтожена.

Мне сказали, что моя политическая безграмотность позволяет судить и об уровне всех других. Никто из нас не может быть аспирантом, работником высшей школы... С громким ревом я бежала по набережной, через Дворцовый мост, на Мойку, где против Новой Голландии помещались мои курсы. Пришла заревавшая, а учениками весело командовала. Вышла на улицу и снова расслакалась.

Без смешного не обошлась и эта постыдная история. Воля Римский-Корсаков сочинил и рассказ (на букву «п»), и стихи о наших похождениях: «Покинули Петербург, пришли в Пантеон Просвещения. Привет выпнопоподготовленным! Пора прекратить просвещаться! Поелжайте подальше, плохие политики!» И так далее. Он пел:

В Наркомпросе, где и поньоне наши заявки спит,
Где туманным изгибы линий и гибнет кандидат,
Наркомпрос — прекрасный наркомат,
В нем цветом мажорный бюрократ...

⁴С Наташей (Талкой) мы за два года до этого провели чудные дни на ее даче, и она об этом, когда начались занятия, написала стихи:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Вот бы с урока скорее удрать бы! | Фокусы мне надоели лингвистики |
| Я недовольна усадьбой! | И философий туман! |
| Помнишь ли, милая, как мы в усадьбе | Помощь ли, Нина, осенние листики, |
| Репу жевали с тобой? | Сосны, шесты и бурьян? |
| Мне надоед Anglo-Saxon противный | Наш коридор опротивел мне темный, |
| И фонетический взор! | В нем не увидишь и дня! |
| Помнишь ли ты бесконечные линии, | Кладбище, крыс и графинь, Нина, помни, |
| Помнишь ли радостный жор? | А злобно и меня! |

Оставалось только стиснуть зубы и отчаянно работать. Из моих учениц выдвинулись новые подружки — Нина Панаева (потомок писателя Панаева), Маша Русанова, художница и умница.

Кроме уроков на курсах, я, после провала, стала впервые читать лекции по литературе (по-английски) в Институте иностранного туризма. Я готовилась к лекциям со страхом и слезами. Игорь помогал мне, а на вопросы папы и мамы: «Как там профессор?» — отвечал: «Профессор плачет!»

Но «профессор» справился и с первой, и с последующими лекциями и старательно работал, хотя понимал, что новый институт, как и прежний Институт восточных языков, в полной власти «органов».

В 1938/39 учебном году я с гордостью преподавала английский в университете — в одну дверь выгнали, в другую позвали обратно. У нас так часто получалось...

Я была очень довольна, так как впервые у меня была группа студентов моложе меня хотя бы на четыре года. Они очень хорошо сдали экзамен. И начальство было довольно, но работать в университете меня не оставили, потому что в апреле 1938 года арестовали моего отца и отца моего мужа, Михаила Алексеевича Дьяконова.

Между арестами их прошло всего двенадцать дней. Это было случайное совпадение, но оно было частью единого бедствия необычных размеров. Это бедствие обрушилось на страну задолго до постигшего мою семью несчастья. Еще в 1928 году состоялся Шахтинский (в Донбассе) процесс промпартии и другие. Это были грандиозные спектакли, широко рекламировавшиеся газетами, радио и даже кино.

Потом все замолкло, занавес опустился и началась тихая, безгласная эпидемия арестов, о которых скорбно сообщали начальству — и близким друзьям и родственникам. Число жертв до сих пор неизвестно. Повторяю: не знаю и не знаю, кто знает.

Гениально перелал атмосферу «великого террора» Мандельштам:

Я на лестнице черной Азии, и в висок
Ударят мне вырванный с мясом звонок...

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля канделябрами циточки дверных.

(«Я вернулся в мой город...»)

Очень пострадала интеллигенция. Из девяти участников нашей родившейся в студенческие годы компании только у одного не были «заяты» ближайшие родственники. Вопиющим было также число жертв среди крестьянства, среди малых народов и рабочих крупных предприятий.

«Перегиты — трагическая закономерность советского строя», — сказал Шура Выгодский, оставаясь, однако, коммунистом по убеждениям. Когда началась борьба испанцев и сочувствующих им против фашистской армии Франко, кто-то из нас сказал: «По крайней мере, мы выучим географию Испании». — «Боюсь, мы скоро выучим географию всего мира», — возразил Шура. Он заблуждался только в своей вере в коммунизм, в скорое окончание репрессий.

У отца Игоря и у моего отца судьбы сложились по-разному, отчасти — конечно, только отчасти — из-за различия их характеров.

Когда выяснилось, что невозможно выдержать чудовищные пытки, которым их систематически подвергали, они стали давать показания. Михаил Алексеевич «сознался», что был шпионом. «В пользу кого?» — грозно спросил следователь. «В пользу Венесуэлы», — ответил допрашиваемый с вызывающим издевательством. Летом 1938 года он был расстрелян, а его жене объявили, что он приговорен к десяти годам заключения без права переписки.

У папы получалось иначе. На требование дать показания он преподнес свои мнимые антисоветские высказывания в заведомо запутанном и мало осмысленном виде; в качестве свидетелей назвал только покойников.

Советской власти, из-за титанических масштабов преследований, приходилось прибегать к услугам тугих и невежественных следователей. Папин мучитель не разобрался ни в чем и перелал показания в более высокую инстанцию, откуда они вернулись с матерной резолюцией начать следствие сначала.

Так повторилось три раза. А осенью 1938 года Сталин объявил, что массовые репрессии были следствием вредительства начальника НКВД Ежова. Его поедили и расстреляли, а за ним многих его приверженцев. Когда мама сообщила мне об этом, я стала плясать от восторга. «Напрасно ты лгуешь», — сказала мама, — неизвестно, поможет ли это папе». «Позволь мне иметь бескорыстные радости», — возразила я. А тут еще исчез портрет Ежова из аудитории, где я преподавала!

Между тем тоненькая струйка недомученных стала потихоньку очень медленно проникать на свободу. Руководить этой операцией в Ленинграде направлял Лаврентий Павлович Берия. И тут героический поступок совершил уже упомянутый мной Толя Ляховский, сын пашинной старинной подружки. Он попросился на прием к Берии, положил на его стол свой партийный билет и заявил: «Головой и честью коммуниста ручаюсь, что никогда и ни при каких обстоятельствах не мог профессор Магазинер доумывать против советской власти».



Академик Михаил Павлович Алексеев (1896–1981)

Берия настолько удивился, что тут же (папа и Толя сверили даты) отдал приказ о пересмотре папиного дела. Он продолжался долго — слишком были забиты тюрьмы — и только 5 сентября 1939 года хамский голос сообщил по телефону: «Дело нашего отца кончено и прекращено. Так что живите папашу домой».

Моя реакция была вряд ли адекватна: я сверла залезла на обеденный стол и разрезала шнур, на котором держался чехол на абжуре нашей большущей лампы, а потом позвонила на работу маме: «Сейчас папа придет!» — «Неправда!» — закричала она, тут же кинулась в такси и приехала домой через две минуты после него. Боже! Какая была радость! Сколько набралось поздравителей! Телефон звонил не умолкая, в трубку лились слова любви со слезами аперемешку.

Уже на следующий день надо было взяться за мировую литературу для подготовки к экзаменам в аспирантуру Педагогического института имени Герцена.

Михаил Павлович Алексеев (1896–1981), мой университетский преподаватель и покровитель, заведовал там кафедрой и обещал принять

меня в аспирантуру, несмотря на папин арест. Но отец пришел домой в последнюю минуту, и я сдавала экзамены, излучая счастье из всех пор и отвопала единственное место у шести претендентов.

Жизнь требовала не только академических успехов. Папу надо было отправить в дом отдыха; мебель из комнат родителей, которая была свалена в нашей комнате на случай конфискации маминго имущества после приговора татпе, надо было вернуть в комнаты родителей. Надо было пойти к врачу и услышать от него подтверждение моей беременности.

Она не очень хорошо сочеталась с огромной нагрузкой: полной ставкой во Втором педагогическом институте иностранных языков, выросшем из ликвидированных курсов, с занятиями в аспирантуре (античная литература, латинский язык, марксизм-ленинизм, западноевропейская литература).

К тому же я понимала, что необходимо продолжить прерванное по окончании университета изучение английского языка. Моей наставницей стала бывшая баронесса Екатерина Петровна Клодт, внучатая племянница знаменитого скульптора Клодта, автора «лошадок» на Аничковом мосту. После расстрела мужа и полного разорения она жила в страшных комнатах (с черным ходом) в грязном дворе на Мойке, 8, через дом от Александра Сергеевича.

Эта была изысканная женщина, истинная леди, обслуживаемая своей бывшей горничной. «У нас разделение труда, — объясняла она, — я зарабатываю, а Зинаида Ивановна тратит». Мы привязались друг к другу, и она часто поила меня кофе, когда я от нее ехала преподавать на Мойку, 108; я старательно носила ей шоколадки.

Конечно, я сразу сказала ей о папином аресте. И она, помолчав, изрекла: «Есть только одно спасение — молитна. Моя подруга в подобном случае взмолилась: „Господи, если ты есть, сделай так, чтоб вернулся мой муж“. И это помогло. Попробуйте!»

Я пришла домой, взяла папину фотографию и сказала (по-английски, как велела Екатерина Петровна!): «God! If thou art, let Father come home!» Когда моление мое исполнилось, я не могла не поверить и пришла к своеобразному внесцерковному сочетанию лизима и пантеизма, которому верна до сих пор.

Екатерине Петровне принадлежит и первый отзыв о моем перенце. Я принесла ей показать свое шестимесячное достижение, и она прислала мне открытку с благодарностью и сообщением: «He came and conquered!» (Он пришел и победил!)

К занятиям английским, преподаванию и подготовке к аспирантским экзаменам прибавлялись попытки самостоятельной работы по литературе. Она оказалась тесно связана с преподаванием. Моим любимым предметом

было объяснительное чтение (close-reading), то есть чтение и придирчивое толкование. Программа составлялась старшими преподавателями, а остальным вручали машинописные тексты для подробного анализа.

Одним из текстов оказалась знаменитая «Ода греческой вазе» поэта-романтика Джона Китса. Я внимательно прочитала ее, и мне показалось, что у меня сердце остановилось.

О Китсе я знала из лекций Михаила Павловича, что он был эстетом, проповедником «искусства для искусства», равнодушным к реальной жизни и ее реальным горестям.

Но то, что я читала, было воплем страдания, вызванного пониманием того, что только в искусстве может храниться красота, тогда как в реальной жизни она изуродована жестокостью и несправедливостью. Так я объяснила Китса студентам и, вызвав взволнованный отклик, решила посвятить ему свою первую аспирантскую работу, из которой потом, несмотря на несогласие моих руководителей, привыкших видеть в нем «чистого эстета», получилась диссертация.

Никакого сочувствия и интереса со стороны своих товаров по аспирантуре я не находила. По сравнению с университетскими они казались мне скучными и тусклыми. Меня осенила мысль, что возвращение папы из заточения даст мне надежду вернуться на мой родной факультет. Я получила согласие Михаила Павловича, который, естественно, оставался моим руководителем, и пришла на прием к проректору университета, известному биологу-генетику.

Он вежливо отклонил мою просьбу: «Я не могу отнимать аспиранта у тесно связанного с нами института Герцена». И я тихо отступила: «Если я не перейду в университет, я рожу кретина». До родов мне осталось три-четыре недели. Проректор-генетик засмеялся, махнул рукой и подписал согласие на перевод.

Так я на доброту герценовцев ответила черной неблагодарностью.

Двадцать девятого апреля 1940 года родился мой первый сын, крепкий, здоровенький. В течение двух часов я в промежутках между схватками продолжала заниматься, не желая будить рано мужа, который накануне из-за моих противных придирок заснул поздно.

За месяц до рождения сына мы от брата Игоря, вызванного для поздравлений в Большой дом, узнали о расстреле Михаила Алексеевича, отца моего мужа. «Папа умер, — сказал мне Игорь покорно и жалобно, — теперь ты знаешь, как мы назовем нашего сына!» Я, конечно, знала.

Михаил Алексеевич был необычным человеком, талантливым переводчиком, автором прекрасных историй полярных открытий. Незадолго



Отец мужа, Михаил Алексеевич Дьяконов
(1883–1933)

до известия о его гибели один из его вырвавшихся из заточения однокамерников зашел к нам и рассказал, как он по вечерам развлекал их историей графа Монте-Кристо.

Для меня начался один из многих трудных периодов моей жизни. Долгая болезнь после родов, аспирантура, преподавание в двух местах — кроме основной работы, были еще лекции недоразвитым девицам в Учительском институте. Даже с помощью няни — всего этого было много. К концу первого года сына я похудела так, что платья на мне уродливо висели.

Мишенька уже к десяти месяцам стал проявлять человечность. Однажды я, как всегда поздно вечером, вернулась с работы и увидела, что няня не потрудилась его накормить: вся приготовленная пища стояла на столе. Я тут же посадила сына на колени и стала кормить. Слезы мои

капали на его еще лысую голову. Он обернулся, посмотрел на меня — и прижался запачканной киселем мордашкой к моей лучшей блузке.

Худшее было впереди: 22 июня 1941 года, в пятую годовщину нашей свадьбы, началась война. Игорь не смог приехать на дачу в Мельничный Ручей, где жили няня, Мишенька и я (частично), потому что Иосиф Абгарович Орбели, директор Эрмитажа, сразу объявил военное положение. Нужно было эвакуировать сокровища музея, для чего было заранее запасено необходимое снаряжение.

Игорь и другие сотрудники жили в Эрмитаже и работали круглосуточно, с короткими перерывами на сон, пока мужики не вызвали в военкомат и не объявили им, что они все идут добровольцами на фронт. Они переселились в превращенный в казарму Мраморный дворец.

Оторвавшись от коллективного копани бесполезных траншей вокруг Ленинграда, я, с Мишенькой на руках, побежала посмотреть на бессмысленную тренировку добровольцев в Летнем саду.

Выручил эрмитажников Иосиф Абгарович. Он пошел к начальнику Ленинградского военного округа и добился их демобилизации. Я (с тем же Мишенькой) пошла поблагодарить его, но не успела и рта раскрыть, как услышала: «Я должен принести вам извинения — я злоупотребила вашим именем. Я сказала начальнику про вашего мужа: „Этот человек на расстоянии десяти шагов не отличит меня от собственной жены“».

Игорь и его спасенные от верной гибели товарищи (из необученных добровольцев вернулись считанные люди) возобновили труды по эвакуации картин и статуй Эрмитажа.

Пятнадцатого августа туда пришел друг и свояк Евгений Игорь, биолог Иван Васильевич Фурсенко, и сообщил, что немцы совсем близко, у станции Синерская, что он среди немногих уцелевших пришел пешком в Ленинград, что они вновь мобилизуются, но уцелеть не рассчитывают. Он оказался прав...

Игорь кинулся в Мельничный Ручей, через Мишеньку, няню и меня в город, заставил срочно хлопотать о нужных бумагах и укладывать вещи. По счастью, папа и мама боялись отпустить меня одну с ребенком и отправились со мной. Девятнадцатого августа — последний день, когда из Ленинграда выпустили все поезда, — мы отправились в долгий путь. Игорь провожал нас и на всю жизнь запомнил, как смеющийся сынок машет ему ручкой.

Как мучительна была наша двенадцатидневная поездка в город Свердловск (ныне снова Екатеринбург)! В товарном вагоне сорок человек и кучи мешков, сундуков, чемоданов просто не умещались; постоянно вспыхивали ссоры. Поезд непрерывно останавливался, и все высказывали — за водой и по нужде — часто в открытом месте. Еды было недоста-

точно: не рассчитывали на такую длинную поездку. Кроме того, главная часть продуктов (не менее двадцати — двадцати пяти килограммов) была упакована и зашита в мешок.

В Свердловск приехали ночью, с трудом вытащили багаж; мешка с продовольствием не нашли. По-видимому, его запртали предпринимательские соседи. Но времени на поиски не было — поезд отправлялся дальше, в Сибирь.

Я нашла приют у моей подруги Наташи Амосовой, которую по окончании аспирантуры, но до защиты диссертации отправили в Свердловск на работу. У нее уже жила другая наша соученица с трехлетней дочкой. Тоснота, детский плач, голод (карточек еще не было), стыд от того, что обременяем других, — все было несносно.

По счастью, папа был нужен в Юридическом институте, в котором многих преподавателей мобилизовали; ему и маме была предоставлена крошечная (девятиметровая) комната в общежитии, в том же здании, где проходили занятия, и мы с Мишенькой переехали к ним. Мне дали часы только по немецкому языку, по английскому нагрузки не было, а комнату — вместе с другой молодой матерью и ее ребенком — отдели в деревянном бараке напротив института.

Устроилась я также на вечернее отделение Института иностранных языков — читать по-английски историю английской литературы. Дорога туда была недалекая, но холмистая, совершенно темная; аудитория плохо освещена, слушатели усталые и равнодушные; я ужасно голодная — ведь продукты у нас украли, а хлеб и крупу по карточкам надо было менять на молоко для Мишеньки.

И я начинаю слышать, убавленная собственным голосом.

Бже! Какой позор! Я вскакиваю и пытаюсь ходить, но ноги не держат: на обеих по семь—восемь гнойных ранок от истощения и недосыпа: Мишенька плохо спит и мне не дает... В нашем бараке — общежитие, шумное, грубое; ночью нередко распахивается дверь и врываются незнакомые мужчины.

Положение улучшается во втором полугодии. Из барака нас переводят в общежитие главного здания. С нами теперь только одна соседка, студентка II курса. Эвакуированный из Харькова мой дедушка, Михаил Игнатьевич Фурман, добился назначения врачом лучшей гостиницы города «Большой Урал» за бесплатный стол и проживание для себя, молодой жены и падчерицы; и он каждый день приглашает кого-нибудь из нас обедать «без талоннов».

Мишенька хорошо спит — и я с ним. У меня появляется новая подруга — доктор Ася Давыдовна Авербух: она заступилась за меня, когда меня стали выгонять из очереди за хлебом, куда я прибегала два раза

и перерыве между занятиями. В ответ на крик: «Вас здесь не стояло!» — я услышала спокойный голос: «Нет, эта дама здесь была».

Передо мной тоже была дама — с большими умными глазами на исхудавшем лице, с ребенком ростом с Мишеньку на руках и большим маленьким рыднышком.

Мы подружились, и она много рассказывала мне о студенчестве на медицинском факультете во французском городе Монпелье, где я сейчас пишу свои мемуары. Эта дружба продолжалась и в Ленинграде, до смерти Аси.

В тот страшный первый год войны ранней весной 1942 года Мишенька заговорил — и сразу сложными предложениями: «Пойдем посмотреть синенькие цветочки, которые называются анютины глазки».

Когда тепло, меньше хочется есть (как открыли мы с Асей) и забываешь, что рядом с институтом по одну сторону тюрьма, по другую суд, напротив — больница, а за полкилометра — кладбище...

В Ленинграде миновала первая зима блокады, увеселяя сотни тысяч жителей. Моя сестра выжила: она с первых дней войны была донором. Когда в начале января сорок второго года она, умирая от голода, пошла в очередной раз славить кровь, «чтоб умереть не вовсе беспамятно», ей дали хорошую еду. Потом она окончила курсы военных медсестер и получила немного лучший пайок. Однако, пережив блокаду, она никогда уже не была полностью здоровой.

Осенью 1942 года из Беломорска, где он был переводчиком в штабе Карельского фронта, приехал мой муж Игорь, получивший отпуск отчасти по болезни и симптомами туберкулеза, а отчасти потому, что ослепевший его доктор очень хотела послать шоколад, сахар и шпик своим родным в Свердловск. Почти одновременно прибыла из Ленинграда моя тета Фанни, папина сестра.

Состояние ее, особенно состояние ее нервов, после блокады было ужасно. Она не могла простить себе, что приехала в чужой, тоже голодный город и не умоляла проклинать себя и всех окружающих. Врач дал ей направление в психиатрическую больницу, после которой она пришла к себе и стала, не без раздраженного ожесточения, помогать нам — прежде всего с Мишенькой.

Неожиданная помощь позволила мне вернуться к мысли о диссертации. Толчком служили также надежда на дополнительный пайок и обед в столовой без вырезки талонов из карточки. По счастью, я привезла с собой все конспекты. Из далекой от нашего института библиотеки я взяла Кита и время от времени возила Мишеньку на саночках за другими

необходимыми книжками. Каково было носить три—четыре этажа его и санки наперх, а потом его, книжки и санки вниз и, усадив его на источник мудрости, ехать через весь город домой!

Писать я старалась после обеда и поздно вечером после ужина, когда была не очень голодна. Мешало, однако, не только голод, но и тяжелая педагогическая нагрузка, так что обстоятельства рождения диссертации вряд ли бы кто назвал благоприятными.

Посоветоваться мне было не с кем: мой руководитель М. П. Алексеев был вместе с университетом эвакуирован в Саратов. Один раз только я смогла поговорить с представленным мне в столовой известным ученым и писателем Леонидом Петровичем Гроссманом. Автор очень популярной тогда книги о дуэли и смерти Пушкина («Записки д'Аршиака»), тонкий знаток европейской литературы одобрил замысел моей работы, противоречивший официальным учебникам.

Осенью 1943 года триста семьдесят страниц диссертации «Ките и поэты Возрождения» были отпечатаны на машинке. Мне довелось услышать добрые слова о ней двух преподавателей, имена которых я, неблагоприятная, за шестьдесят лет забыла.

Один экземпляр я послала в Саратов Михаилу Павловичу Алексееву, но сообщила, что на защиту к нему мне не досрать: на это ушло бы пять дней в одну сторону, а дисциплина в вузах была тогда военная. Я просила его прислать отзыв в город Кыштым Челябинской области, куда после эвакуации на Кавказ, навстречу немцам, был водворен Институт имени Герцена. Защищаться там предложил профессор Василий Алексеевич Лесницкий, знавший меня еще до войны.

Михаил Павлович немедленно ответил: он хвалил мою диссертацию, врал защищать ее в Саратове и гневно возражал против моего плана: «Одно сочетание благозвучного имени „Ките“ и варварского именованья „Кыштым“ вызывает у меня спазм в горле». Этот взрыв негодования не помешал ему прислать на защиту великодушный телеграфный отзыв.

Защита состоялась в декабре 1943 года. В Кыштым я ехала четыре часа (120 километров), а обратно — шестнадцать (без куса хлеба, так как свои три ломтика отдала трем нищим детям). Меня приютжила на три дня семья одной из студенток Свердловского юридического института. В первый день я бродила по крошечному городку с одной большой улицей и многими поперечными и обдумывала свой ответ на отзывы оппонентов, полученные тут же, в Кыштыме.

На второй день была защита — в библиотеке Педагогического училища, в помещении которого располагался Институт Герцена. Температура была 2—3 градуса выше нуля. Все сидели в шубах, шапках,

валенках. Я произнесла вступительную речь (15 минут) без палто, но замерла так, что, еле договорив, кинулась за шкафы и надела все, что могла.

Первым оппонентом был Василий Алексеевич Десницкий, специалист по русской литературе. Он лишь просмотрел работу и критиковал только замечания, недостаточно педантично выверенные. Вторым оппонентом была доцент Галина Васильевна Рубцова, одна из двух обожаемых мною в школе учительниц русского языка, которая находила время для дополнительных занятий с преданными учениками. В предвоенные годы мы с ней оказывались коллегами в Институте иностранных языков.

Отношения мои с Галиной Васильевной были нежные и доверительные. Мы работали на одной кафедре и после войны, и я навещала ее, смертельно больную, до конца ее дней. Но с моей трактовкой Кита она не согласилась, предпочитая традиционный взгляд. На защите мы ласково, уважительно опровергали друг друга, и слушатели аплодисментами поддержали мой неконформизм.

Заключила я так: «Последние слова я хочу сказать той, которая своим незабываемым преподаванием на всю жизнь определила направление моих интересов и стремлений. Галина Васильевна! Мне хочется надеяться, что ваша старая ученица сегодня не слишком заставила вас краснеть».

Галина Васильевна потом говорила мне, что отношение к ней на факультете — дурное, потому что она с малыми детьми и стариком отцом не смогла бежать из Кисловодска при немецком наступлении и была вывезена оттуда только когда врагов отогнали, — после моей защиты резко изменилось.

На следующее утро Галина Васильевна и я влезли по сломанному ступенькам на высокую колокольно-длинной старой церкви с незабываемым видом на сияющее белыми льдами озеро. Голодные, слабые, усталые, мы вдыхали в себя неумирающую красоту.

В тот же день я была приглашена на обед к Василию Алексеевичу Десницкому, первому оппоненту и удивительно хорошему человеку. Он был крайним демократом, а также любителем старинной иконописи. Однажды собранные им где-то на севере иконы спасли его от ареста, потому что под ними не увидели запрятанные революционные прокламации. После революции он вместе с Горьким издавал антибольшевистскую газету, но в отличие от него не ушел и невоинно почему ушел — и занялся преподаванием.

Его приглашение к обеду пришлось очень кстати. Я навеки запомнила, какая вкусная была рыба с жареной картошкой, а его дочь при виде голодного блеска в моих глазах тихою пошнудой поближе ко мне кусочек хлеба с толстой корочкой. Все это очень в духе старой русской интеллигенции. Недаром Россия подарила миру слово «intelligentsia»!

После моей защиты материальное положение нашей семьи немножко улучшилось: был дополнительный взнос!

Решительно изменилась обшая ситуация. Наша армия разгромила вражеские войска под Сталинградом (ныне Волгоградом). Для меня этот город прочно связан с воспоминанием о моем друге студенческих времен Сергее Семенове, с которым мы встречались и общались и в зрелые годы. Военнообязанный, он служил врачом в госпитале для пленных немцев и с ужасом смотрел, как они сотнями умирают от тифа и голода, тогда как он, врач, не может им помочь. Он пересадыл себе на руку вощь с умирающего — и очулся только в киевском госпитале, куда его перевезли в бессознательном состоянии.

Он выжил благодаря самоотверженному уходу влюбившейся в него молодой врачихи, был перевезен в Москву, где стал видным психиатром, заместителем директора одного из главных институтов по своей специальности. Недаром еще в студенческие годы он написал мне: «Не спал всю ночь. Нина, я счастлив, я горжусь быть врачом!»

После Сталинграда в ходе войны явно обозначился коренной поворот. Дело шло к победе. Эвакуированные (местные жители называли их «выковыренные») при первой возможности возвращались домой. В Ленинград из Саратова весной 1944 года привез студентов профессор Александр Алексеевич Вознесенский, ректор ЛГУ.

Он рьяно взялся за восстановление университета. Надо было вернуть ему жизнь, объединить его рассыпавшиеся факультеты, обеспечить их преподавателями, программами, помещениями. Для этого Александр Алексеевич вызвал сотрудников, работавших в других городах. Среди них был мой отец, запомнившийся ему профессор начала 1920-х годов.

Папа уехал в Ленинград, где встретился с моей сестрой, к тому времени замужней. Он увлеченно взялся за восстановление юридического факультета — и через несколько месяцев затребовал нас из Свердловска.

Мишеньке исполнилось уже четыре года, и он преодолел первые сложности постижения английского языка. Через несколько недель после начала занятий он бойко болтал и помнил немало детских стихов. Я очень гордилась — не столько его знаниями, сколько умом.

Среди нравившихся ему стихов было одно о котятках. Они перессорились и передрались, и злая старуха вышвырнула их в снег: Бедным котяткам некуда было денаться (The poor little kittens had nowhere to go). Тут Мишенька заплакал и почти сразу закричал: «Это ты виновата!» Он не мог объяснить, но понял, что до слез довела его я — тем, как жалобно прочитала стихи!

Жизнь в новом старом доме налаживалась с трудом. Меня почти сразу приняли на давно возжеленную работу в университете. За меня стоял Михаил Павлович Алексеев, заведующий кафедрой западноевропейских литератур, да и ректор Вознесенский знал обо мне как папиной дочке.

Надо было приводить в порядок квартиру: в одной из комнат, сланных до войны в порядке самоуплотнения, вместо уехавших сестриц, наших знакомых, прочно поселилась дворничиха с мужем-алкоголиком и десятилетним сыном: его любимым развлечением было делать пи-пи с седьмого этажа на первый. Им мы впоследствии с мучительным трудом и с огромной доплатой добыли другое жилье.

Мне и папе приходилось отчаянно работать, завоевывать новое место в пространстве. Между тем было много хозяйственных забот. Еда была по карточкам, но голода в «спердловском» смысле не было.

Осенью 1945 года вернулся из армии Игорь, и мы вступили в трудную пору приспособления друг к другу после долгих лет разлуки и отчуждения. Мишенька ревновал меня к отцу, отталкивал его, когда тот ко мне приближался. «Она же моя жена», — убеждал его отец. «Подумаешь», — отвечал Мишенька, — вот вырасту и сам буду на ней жениться!»

Наш брак продолжался шестьдесят три года (без шести недель). История его длинная, сложная, противоречивая. У каждого из нас была, в пределах его, своя жизнь, но мы никогда не обсуждали возможность раздельного существования. Как написал мне Игорь «На семьдесят шестой день рождения»,

Что бы нам с тобою ни встречалось
В нашем предназначенном пути,
Только вместе нам легко идти —
Это никогда не изменилось.

Без всякого сомнения, Игорь в значительной степени определил мое умственное развитие. Во всех своих научно-литературных делах я советовалась с ним — даже переводы он помогал мне редактировать: читал и оставлял укоризненные пометы на моих рукописях. Свои книги я дарила ему с надписью «супругу-благотетелю». И таким он действительно был.

На мою долю выпадала внешняя, бытовая организация нашей жизни, воспитание детей, а также и выбор круга общения.

Игорь был всегда ко мне добр и ласков, я же слишком часто грешила раздражительностью, нетерпением, вспышками неоправданной обиды. Никогда себе этого не прощу.. Поглощенная организацией семейного уклада и преподаванием, я недостаточно ценила одаренность и благородство своего мужа.



Нина Яковлевна с мужем и детьми, Мишей и Митей (1949)

Не оправдывают меня и тяжелые условия существования. Только в декабре 1947 года отменили карточки, преподавателям и научным работникам повысили зарплату. Летом 1948 года мы впервые поехали в Эстонию, в чудесное местечко Эльму недалеко от Тарту, где с нами, на старый лад, была домработница Дуся. Все шло как будто к лучшему, и мы решились на второго ребенка. Первый, кому я сказала о его грядущем появлении, был Мишенька.

Как сейчас вижу: он идет по тропинке перело мной, и ядруг уши его сильно краснеют. «Когда?» — спрашивает он. «К первому апреля», — говорю. «Так долго! А нельзя побыстрее?» Он нетерпеливо ждет; по утрам, только проснувшись, кричит: «I want a baby!» Он заявляет, что хочет сам купить все, что нужно для малыша. Требуется, чтобы каждый день ему дали всю мелочь, и он будет откладывать деньги и купит полное снаряжение.

Когда я сказала ему, что «оно» шевелится внутри меня, он стал залезать ко мне в постель и требовать: «Скажи ему, чтобы он меня толкнул». И захлебывался от восторга, когда через меня чувствовал движение младенца. Он принимал участие в семейном заседании, посвященном выбору имени будущего гражданина, и уверял, что «Митя» всего лучше.

Вместе с отцом он после рождения ребенка приходил во двор больницы (тогда в родильные отделения допуска не было). Я попросила

сестрицу, чтобы она поднесла младенца к окну. Игорь сказал: «Однако этот Митька довольно красножоп», — и Мишенька бросился на него с кулаками.

Он непременно хотел участвовать не только в покупке, но и в изготовлении приданого. Ничуть не смущаясь, он сидел на скамье в Таврическом саду и вынул для братца башмачки и салфетки. У него получалось много лучше, чем у меня, и его изделия до сих пор сохранились.

Семейная идиллия расцветала на быстро мрачающем фоне. Уже в середине сороковых годов, в конце войны, все отчетливее проявлялись безошибочные признаки антисемитизма.

Жертвой его стал, среди многих, Толя Ляховский. У него, как крупного партийного работника, была броня, но он добровольно пошел на войну и два года доблестно служил в разведке. Летом 1943 года у него на ноге появилась болячка, и врач послал его в Москву на обследование. На прощание начальник сказал ему: «Да, вы, евреи, всегда умеете устроиться!»

В Москве у него обнаружили саркому. Его слегка прооперировали и назначили на идеологическую работу в столице. Он прослужил там недолго: когда родители сообщили ему, что возвращаются домой из эвакуации, он получил разрешение переехать из Москвы в Ленинград — и поехал.

Однако на станции Бологое он вышел, поселился в местной гостинице и принялся писать возмущенные письма Сталину, Молотову и другим высокопоставленным лицам. Хозяйки гостиницы позвонил в НКВД. Когда в Толлину дверь постучали, он открыл, поглядел, захлопнул ее перед носом пришедших и застрелился.

Евреям все труднее становилось получать высшее образование, все труднее находить — и сохранять — работу. Мой отец очередной раз под предлогом идеологических ошибок был выгнан из университета.

Осенью 1951 года от меня тоже хотели отделиться — отобразил пометки на кафедре английской филологии; поскольку половины ставки на литературной кафедре было мало, увольнение становилось неизбежным.

Спасла меня добрая и очень интеллигентная Елена Николаевна Зверева, заведующая общепереводческой кафедрой иностранных языков: она дала мне полетавки на физическом факультете, где я умным и хорошим ребятам (многие из них потом стали крупными учеными!) преподавала с полным удовольствием два года, до смерти папача; после этого для меня и на родном факультете снова нашлась нагрузка.

В последние годы царствования Сталина даже крупнейшие специалисты, например всеми любимым Борис Михайлович Эйхенбаум, автор блестящих работ о Лермонтове и Толстом, лишились работы, а в лучшем случае — кафедры.

Борис Михайлович рассказывал мне, что когда в 1948 году он и его товарищи явились к ректору, чтобы обсудить с ним понижение Эйхенбаума в должности (из-за зуборубительной статьи в центральной газете о его «жалком, сморщенном уме»), Вознесенский вынужден был согласиться на его смещение с должности заведующего кафедрой, но сказал: «Ваша профессура в университете не-злыб-ле-ма». Через год ректор был уволен, а через два, после страшных пыток, расстрелян.

Высшего уровня бесчинства достигли, пожалуй, в 1949 году. Я еще была в больнице с новорожденным Митенькой, когда в Большом актовом зале университета (в факультетском не поместились желающие) под председательством декана, печальной памяти Г. П. Бердникова, состоялось заседание, на котором были заклеены как «безродные космополиты» профессор Марк Константинович Аздовский, Григорий Александрович Гукровский³, Борис Михайлович Эйхенбаум и член-корреспондент Академии наук Виктор Максимович Жирмунский.

Нездалогу до заседания Борис Михайлович перенес два инфаркта и один инсульт. Врачи объявили его безнадежным, и кто-то побегал в партком с предложением снять завтрашнего мертвеца с повестки дня. Но секретарь с пророческой мудростью ответил: «А вдруг он не умрет и мы допустим политическую ошибку?» Эйхенбаум действительно не умер! Достоинно перенес годы нужды, развлекал друзей веселыми стихами:

От юбилей В. Гого
И Николая Гоголя
Не получил я ничего —
Ни пиши, ни алкоболя.

Он дождал до реабилитации, неутомимо работал и умер под аплодисментами: они раздались после его вступительного слова к спектаклю Акимова в Доме писателей. Кланьясь и улыбаясь, он сел на свое место в первом ряду — и умер. Его многолюдные похороны я плохо помню, «от слез не видя ничего».

Возвращаясь к заседанию-расправе 1949 года, скажу, что из четырех преступников присутствовал один Виктор Максимович: Аздовский

³ О нем рассказывал только один, навеки запомнившийся его слушателям эпизод. В первой лекции он говорил: «В России было пять великих поэтов». И перечислял: «Лермонтов, Лермонтов, Тютчев, Блок и Маяковский». В ответ раздавался общий крик: «А Пушкин?» — «А Пушкин — Бог», — тихо отвечал Гукровский.

и Эйхенбаум были больны, Гукровский уже арестован. В ответ на обвинения Виктор Максимович признал свои ошибки, но сказал, что ученики его преподают в десятках городов СССР: «Их воспитали не вы, а Партия», — оборвал его Бердников.

Достоинный итог судилища подвел профессор Борис Георгиевич Рейзов, на свое счастье не еврей, а армянин. Сидя в глубине зала один, с закрытыми глазами, он вполголоса повторил: «Merde! Merde!» От перевода воздержусь.

Идеологические и политические преследования часто заканчивались арестами с легко предсказуемыми смертными приговорами. Особенно знамениты мрачными злодеяниями последние годы господства Сталина.

Не удержусь и расскажу смешной случай. В 1952 году прихожу домой и с изумлением застаю маму на кухне, где она никогда не бывала. Она держит ступку и стучит тяжелым пестиком. Выясняется, что один из папиных учеников поларил ему небольшой бюст Сталина. Он стоял где-то задвинутый на шкаф, но однажды упал на пол, и у него отвалился нос. Держать вождя без носа было опасно, а еще опаснее было выбросить, ибо добрые люди проследили бы, из какой квартиры он угодил в мусорный ящик. Вот мама и толкла гипсовый бюстик до неузнаваемости, пока никто не видел!

Бог наказал палача смертью в тот момент, когда, как говорили, готовилось массовое выселение евреев в Сибирь, в Биробиджан, и когда началось дело о ста тринадцати «врачах-убийцах», якобы систематически обрекавших своих пациентов на верную гибель. Поэты были полны статей об «убийцах в белых халатах».

Надежда человечества, народный кумир, которому, подняв руки кверху, аплодировали, пока у дам не лопались швы на платьях, внезапно скончался 5 марта 1953 года. На похороны его собралось столько народа, что в давке погибли тысячи людей.

В тот день и пришла на вечерние занятия в восстановленный Второй институт иностранных языков — Вера Игнатьевна попросила меня взять хотя бы одну группу — и застала всего несколько человек. «Где же все?» — тупо спросила я. — «Как где? На похороны товарища Сталина! А вы не поедете?» — Наступила зловещая тишина, и я ответила: «Товарищ Сталин выше всего ставил труд и исполнение долга. Он бы не одобрил нарушения дисциплины и пропуск занятий». Мои ученицы замолчали...

После смерти вождя и воцарения Н. С. Хрущева обстановка сравнительно нормализовалась и злодеяния Сталина были разоблачены. В те



Нина Яковлевна с Митей (1954)

годы и разрывалась между работой и вторым сыном Митей, которого все дружно обожали и баловали, а больше всех наша Дуня, ставшая его преданной няней.

Мишенька между тем был уже большой, самостоятельный, научил свою бездарную мать кататься на коньках и на велосипеде. «Не сядь на велосипед, как на электрический стул», — приказывал он мне. — «Это не электрический стул». «Электрический», — упрямо отвечала я сквозь слезы страха и досады. В конце концов я одолела и то и другое искусство и очень гордилась и собой, и своим наставником.

Через несколько лет вынужденного безмолвия вновь открылась возможность печататься, и я вернулась к проблемам английского романтизма. Теперь уже можно было публиковать научные исследования — не политические декларации, а, например, статью «Поэма Китса „Изабелла, или Горшок с базиликом“ и новелла Боккаччо», можно было читать лекции по западноевропейской литературе, отнюдь не сводящиеся к уничижительной критике капитализма. Можно было без страха вести длинные разговоры.

Самыми близкими нашими друзьями тогда и до конца жизни были Эткинда и Кирпичниковы. Ефим Григорьевич Эткинд, блестящий исследователь, преподаватель и переводчик, человек редкого обаяния,

остроумия и начитанности, сын еврея-коммерсанта, мужественно бороздился против советских преследований, был женат на очаровательной и очень умной Екатерине Федоровне Зворыкиной, из старинной дворянской семьи.

Ее не менее замечательная старшая сестра Наталья Федоровна была замужем за ботаником с мировым именем Моисеем Эльевичем Кирпичниковым⁶, прошедшим в строю всю войну, от севера до Венгрии — там он был в 1944 году демобилизован после тяжелого ранения. Сестры к общему удовольствию распевали:

Ах юбки мои,
Да юбки узкие!
Похлобили мы жилочков,
Сами русские!

Ефим Григорьевич был школьным товарищем и другом Алексея Михайловича Дьяконова, младшего брата Игоря. Алеша погиб в декабре 1941-го на Ленинградском фронте — видимо, от болезни и истощения, точно неизвестно. Он был кораблестроителем и поэтом и вместе со своим другом Эриком Найдичем написал пародийное «Путешествие Онегина и Ленского по советской России»⁷.

Ефима Григорьевича через брата хорошо знал Игорь. Он работал переводчиком в штабе Карельского фронта и добился, чтобы Ефима Григорьевича, имевшего «белый билет» по зрению, мобилизовали и перевели в Беломорск из Яранска, куда они с женой были эвакуированы. Радость совместной работы окончательно их сблизила. После войны наши семьи образовали дорогое наше содружество. Его прервала не вынужденная разлука — она ничего не изменила, — но смерть.

⁶ Его имя было Михаил Ильич Кирпичников. Его еврейская семья сильно обрусела, но при первых признаках сталинского антисемитизма Миша отказался от привычного имени и записал: Моисей Эльевич. Наталья Федоровна не перечила ему.

⁷ Запомнились лишь немногие строки:

О, что сравниться может с чаем?
Прекрасна Грузия страна!
Расцвет ее необычнен,
Снабжает чаем нас она,
И каждый день одним кончай:
Прекрасный пей грузинский чай.
...
И Маши чай мне валивала
И взором много, много обещала.
Но кроме чая одного
Не получила я ничего.



Игорь Михайлович Дьяконов и Ефим Григорьевич Эткинд на Карельском фронте (1943)

Сейчас из шести осталась только я. Наталья Федоровна, моя подруга номер один, скончалась 1 июня 2009 года.

Ефим Григорьевич был, помимо всего прочего, замечательным организатором, и он устроил выезды наши за город. Круглый год мы на воскресенье (а потом на субботу и воскресенье) езжали в Зеленогорск, где снимали комнаты рядом, вместе пилились, вместе ходили на лыжах и бесконечно болтали обо всем на свете среди взрывов смеха.

В 1958 году Ефим Григорьевич настоял на том, чтобы мы обзавелись собственными дачами. Эткинды и Кирпичниковы построили дом на общем участке, состоящий из двух половин. Зимой 1958/59 Дьяконовы жили на половине у Кирпичниковых, а летом 1959-го воздвигли собственный дом в двухстах метрах. Дома связывала узкая тропинка — «дорога дружбы».

Как там было весело! Как неразлучны были дети трех семейств! Особенно близки были Машенька Эткинд, Ксюша Кирпичникова и Митя Дьяконов. Я учила их английскому и с большим трудом справлялась с бурным темпераментом троюшек.

Самое сильное воспоминание об этих дачах — это чувство полной общности, разделенности переживаний, идей, удовольствий. Вот написанное

в 1960 году стихотворение Ефима Григорьевича под названием «Разговор с внуком в 1990 году»:

«Скажи-ка, дедушка, кто этот дед Егор? (Игорь. — Н. Д.)
Какой смешной толстик! Где ты навел такого?»
«Да, милый, тридцать лет уже прошло с тех пор,
Как с этим дедушкой мы строндлнсь в Ушково.
Лет пятьдесят назад мы с этим самым другом
Сражались с немцами аж за полярным кругом».

А как замечательно праздновали мы там двадцатипятилетие нашей свадьбы! Сколько пели, хохотали, какую динию чепуху молвили!
К моему сорок пятому дню рождения в 1960 году, во время болезни Игоря Михайловича, Ефим Григорьевич сочинил такой список пожеланий:

Пусть горит на даче свет! (электричество только что
повели. — Н. Д.)
Пусть домой вернется муж!
Пусть на много, много лет
Охранит тебя от стуж
Друзья теплые лучи!

Экзотика и Карточка.

Помню и такой замечательный разговор. Ефим Григорьевич и Екатерина Федоровна горько жаловались на беззащитность приятеля, который вваливался к ним незваный и ни за что не уходил, не давая им работать. Я сказала: «Сами виноваты! Со мной у него ничего не вышло бы». Ефим Григорьевич сказал: «Ну, покажи нам, что делать в таких случаях. Сядь сюда и жди гостя». Я уселась и приговорила отталкивающее выражение лица. Ефим Григорьевич быстрыми шагами вошел в комнату, бросился на кровать и сообщил: «Ну вот, я пришел!» Я расхохоталась — сопротивление было явно бесполезно.

Важным в моей жизни оказалось лето 1960 года. Игорь проводил тогда много времени в Москве: он был назначен ответственным секретарем

¹ У Натальи Федоровны сохранилась такая записка:

Татуся!
Зайди к владычице короной
Красавице Золотаревой.
Скажи, что я уехал в среду
И в пятницу опять приеду.
Пускай затопит котелок
В четверг.

Твой Александр Блок.

рем (General Secretary) XXV Международного конгресса востоковедов. При наших бюрократических нравах, при общей атмосфере страха, столько лет нагнетаемого Сталиным и еще не рассеявшегося, все шло безумно медленно.

Правда, одно было хорошо. Директор Института востоковедения Б. Г. Гафуров уговорил академика В. В. Струве прекратить свое сопротивление докторской защите Игоря, поскольку секретарь конгресса не мог не быть доктором наук. (Игорь был так занят, что у него едва хватило времени передеться для защиты!)

Игорь настоятельно просил меня приехать на конгресс: пусть иностранцы увидят, что у русских есть жены, которые говорят на нескольких языках и умеют слушать, как говорят другие. Игорь так редко просил меня о чем-нибудь, что я не могла отказать, но у нас было очень плохо с деньгами после покупки дачи, и мне пришлось попросить платые у подруги.

Я старалась быть милой со всеми, с кем знакомил меня Игорь, развлекала их жен, с удовольствием говорила с норвежским профессором Георгом Моргенштерне, который «обратил в востоковедение» брата Игоря, Михаила, студента университета в Осло, где семейство Дыконовых жило в 1920-е годы.

Случилось так, что из-за путаницы с авиабилетами Москва — Ленинград, куда гости поехали знакомиться с Северной столицей, Игорь улетел, а я осталась ждать утра на койке захудалой аэропортовой гостиницы.

Невыспавшаяся, злоющая, я вошла в самолет и вдруг услышала голос: «Миссе Дыконов! Пожалуйте сюда!»

Это был Георг Моргенштерне. Перемена после ночных злоключений была ошеломляющей. Мы сразу нашли путь друг к другу и душевно беседовали — конечно, по-английски (по-норвежски я умела читать, но говорить плохо). В разговоре выяснилось, что я в большом затруднении, ибо мне заказана статья о знаменитом романе «Кристина, дочь Лапанса» норвежской писательницы Сигрид Унсет, а у нас никакой литературы о ней нет. Он сразу сказал, что пришлет мне две монографии, написанные об Унсет его добрыми знакомыми. И сразу выполнил свое обещание.

Я (с помощью Игоря) немедленно написала благодарственное письмо по-норвежски: «Глубоко чтимый господин профессор Моргенштерне!»... Это было начало долгой переписки, длившейся до его смерти в 1979 году. Переписка эта прерывалась свиданиями: в 1970 году мы с Игорем были его гостями, а потом он два раза приезжал к нам, в город и на дачу. В последний раз он, прощаясь, протянул мне свой гигантский зонтик: «Возьми!» Я до сих пор храню его с нежной благодарностью.



Георг Моргенштерне (1970)

Георг был человеком необыкновенной учености, поглощенности своей работой и при этом очень мужественный и самоотверженный: его сын был полным калекой от рождения, не мог даже встать; его жена рано лишилась дара речи, дочь вышла замуж и жила своей отдельной жизнью. И все это он терпеливо переносил, излучая помощь и ласку.

После его смерти нас «унаследовали» — так они сами сказали — его дочь и зять, Эва и Эрик Луренцен, люди тоже известные в Норвегии. Мы после смерти Георга еще два раза приезжали к ним, а они — к нам. Эва отдала мне мои письма к своему отцу, им хранившиеся. Недавно я их с волнением перечитала. Это не только история дружбы: от обращения к «глубокопочтиму господину профессору Моргенштерне» до ласкового «Миленький Георг» (Darling Georg), но и история моей жизни, трудов, радостей и бед.

Дружба, отношения с людьми были, по-видимому, главной моей способностью. В связи с Георгом уместно рассказать о других друзьях, если не упомянутых.

Из друзей-мужчин назову прежде всего Михаила Михайловича Дьяконова, старшего брата Игоря. Очень одаренный, он, однако, не отличался умением со всей энергией ума и воли сосредоточиваться на своей работе. Его докторская диссертация в 1946 году вызвала серьезные возражения серьезных ученых; готова ее к печати через много лет, Игорь горестно говорил мне о ее недостатках.

Помехой были и любовные увлечения Михаила Михайловича, его бурный успех у женщин. Их пленяло не только его обаяние, но и внимательность, понимание их чувств и настроений. Привожу его стихи 1943 года, обращенные к будущей (второй) жене Евгении Юрьевне Хин.

ПАВЛОВСК

Время стояло совсем золотое,
Парк был пуст, прохладен, чист,
И только мы двое, и только мы двое,
И падает желтый лист.

Строгого храма простые линии,
Женщина плачет, забыта всеми⁹;
На ветру покорно стьнут богини,
В кустах синие тени.

А он шагает, шагает широко¹⁰,
Складки хламиды назад отлетают,
В руках кифара; спокойным оком
На нас, безумных, изиарат.

Я твою обхватил колени,
Я бормочу слова признания...
Глаза олены, синие тени,
Радость и хмель страдания.

Мы были слепы, но тот с кифарой
Видел шесть лет счастья и мужи...
Бури, битвы, войны фанфары,
Очищающий пламень разлуки.

«Шесть лет» подразумевали первые, довоенные, годы их любви; добровольный, с преодолением формальных трудностей, уход на фронт;

⁹ Речь идет о мраморной женщине, плачущей возле ложа супруга в Мавзолее Павла.

¹⁰ Имеется в виду статуя Аполлона Кифарела.



Михаил Михайлович Дьяконов (1908–1954)

тяжелое ранение на печально знаменитом Невском пятачке под Шлиссельбургом; спасение в госпитале, куда на саночках перевезли его из плохой больницы брошенная жена и брошенная любовница; командировка в Иран и, наконец, демобилизация.

Еще до конца войны Михаил Михайлович соединился с Евгенией Юрьевной, муж которой, Орест Юрьевич Цехновицер, погиб под Таллином летом 1941 года. В 1948 году у Дьяконовых родилась дочь Алена. Семьи братьев, Михаила и Игоря, были близки и провели два веселых лета на рязском взморье (1952, 1953).

В конце 1953-го Михаил Михайлович был назначен деканом исторического факультета Московского университета и в Ленинград приезжал только по делам. Тридцатого марта 1954 года он был у нас последний раз

и рассказал, что принял «очень холодную ванну». Он шел (с одной из своих дам) вдоль Зимней канавки, услышал крик, прыгнул в воду и спас двух провалившихся под лед детей.

Вернувшись в Москву, он сразу заболел. Анализ показал, что он страдает острым лейкозом — раком крови. Его немедленно отвезли в Кремлевскую больницу, а Игорь, наплевав на работу, отправился ухаживать за братом.

Я писала Мише каждый день и иногда получала короткие ответы. За три дня до смерти он написал мне: «Дорогая сестрица! Спасибо за письма. Болею тяжело. Смотрю картинки и подписи: высокий толстый человек бежит по улице — это Игорь бежит за речетом; высокая полная дама с пухленькой девочкой — это Жени и Алена бегут в аптеку; короткая толстая женщина бежит с большой сумкой — это Муся (домработница) несет покупки. А вот причина всех этих хлопот...» (нарисована больничная кровать и на ней неузнаваемый, исхудавший, замученный человек — он сам).

Он умер 7 июня 1954 года в возрасте 46 лет. Служили две гражданские панихиды: одну в Московском университете, другую — в Институте востоковедения в Ленинграде, куда мы привезли его гроб. На похоронах плакали даже мужчины.

Я сохранила прочные отношения с женой Михаила Михайловича, а после ее смерти — с дочерью Аленой, дружившей с моим младшим сыном Митей. Она — выдающийся специалист по японскому языку и литературе и обаятельный человек; ее муж, Илья Сергеевич Смирнов, — директор Восточного института в составе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве, а дочь их Настя сохранила таланты писательницы и художницы и публикует свои труды в России и Голландии, где живет с детьми и мужем, выдающимся архитектором.

Сердечная дружба связывает меня также с сыном Михаила Михайловича от первого брака, с «обожаемым Андрюшей Михайловичем». Хотя ему уже семьдесят пять лет, он энергично работает в Физико-техническом институте в Шушарово. Он в детстве тяжело пережил развод родителей и нашел приют у нас: провел с нами на даче около Рошина два лета. Он всегда помогал мне закупать в городе продукты и старательно читал со мной по-английски. В ответ на мой крик по поводу свиноушки в его и Мишиной комнате кротко просил: «Вы, тетечка, только не волнуйтесь». Орать становилось неинтересно.

После смерти Игоря Михайловича и отъезда за границу наших сыновей он приходил ко мне каждую субботу, чтобы я не скучала. Бывает он у нас и теперь.

Из моих друзей назову еще Сергея Андреевича Русанова, внука воронежского землевладельца, друга и корреспондента Льва Толстого и автора мемуаров о нем — Гавриила Андреевича Русанова. Сергей Андреевич был хирургом — во время войны старшим хирургом в армии Рокоссовского — и страстным охотником. Он посвятил мне стихи:

Днем жара, зарницы ночью, и тепла в реке вода,
А уж ласточки, как бусы, уносили провода,
И печальные проветы шлют нам дождь и холода.

Час настал, и не обманет ни медовых трав тепло,
Ни сверканье быстрых молний, ни прозрачных рек стекло,
Лето — и земли и жизни — лето все-таки прошло.

Но нескоро снег покроет облетевшие листья,
И осенним утром ярки желто-красные кусты,
В нитях белой паутины, и блеске грустной красоты.

Путаная штука — человеческие отношения, и я на закате дней понимаю их не многим лучше, чем на рассвете...

Из других друзей вспоминаю двух моих учеников, Севера Федиковича Гипсовского и Вениамина Наумовича Шейнкера. Они оба кончили университет в 1951 году, оба были тяжело ранены во время войны, оба были связаны со мной дружбой, Север — короткой, осложненной взаимным непониманием, Вениамин — долгой.

Они оба, при ярком уме и индивидуальности, были сильно примяты жизненными обстоятельствами, но боролись с ними мужественно и стойко. Вениамину Наумовичу героически помогала его жена, Любовь Александровна Маслова. Она вышла за него замуж весной 1951 года, в разгар антисемитской кампании, и делила с ним жизнь в провинциальных городах, куда вынуждены были, за неимением лучшего, наняться на работу евреи. Шейнкер много помогал мне; после его смерти я, уже в девяносто лет, ездила на конференцию в Новгород Великий — главным образом чтобы повидаться с его милой вдовушкой, Любовью.

Больше, чем друзей, было в моей жизни подруг, оставивших в ней неизгладимый след.

В начале пятидесятых годов мы провели три лета на Рижском взморье, в местечке Меллужи. Нашими соседями по дому оказались организатор Ленинградской филармонии Исая Александрович Бравудо и его жена Лидия Николаевна Шуко, дочь бывшего сенатора Черносвитова и пле-

мянница писателя Федора Сологуба. Блестяще остроумная, веселая, битком набитая чудными историями о прошлых временах, понимающая все с полуслова, она была моим верным другом до смерти своей.

Лидия Николаевна (Лидуша, звала я ее) познакомила меня со своей старшей сестрой, причом-хирургом из Первого медицинского института, Татьяной Николаевной Черносвитовой. В шестидесятые годы Лидуша попросила меня принять ее сестру летом к нам на дачу. С первых же дней мы стали называть ее «тетечкой» (она была много старше нас). Тетечкой она и оставалась до смерти своей в июне 1966 года. Ее жизнь была сплошной трудовой подвиг. Конечно, она добровольцем прошла всю войну. Узнав по возвращении, что ее дочь в деревне попала в больницу с дифтеритом, она ночью разбила окно во втором этаже, залезла в палату с лекарстамими — но опоздала... Милая тетечка! Да булет ей земля пухом!

В шестидесятые годы я сблизилась с Ириной Владимировной и Марианной Ариоль. Марианну я знала раньше — она была моей студенткой, и мы с удовольствием бывали вместе, катались на коньках и лыжах.

С Ириной Владимировной мы стали вместе в 1961 году работать над книгой английских комментариев к английским прозаическим текстам, тут же приводимым. Марианна была нашей технической помощницей и секретарем, и мы с ней говорили, что Ирина Владимировна (кладешь образованности и великодушия) к нам примазалась.

Книга «Аналитическое чтение» вышла в 1962 году, а в 1967 году появилось ее расширенное издание — «Три века английской прозы» (Three Centuries of English Prose). Осенью 2009 года она была вновь переиздана. Публиковали мы общие работы и в новом тысячелетии.

Долгие годы близкого общения связывают меня с Ириной Бенедиктовной Комаровой, необыкновенно образованным, талантливым переводчиком английских стихов и прозы. Она была сперва едва ли не лучшей из моих студенток, а затем незаменимым редактором моих — и Ирины Владимировны — трудов в издательстве «Просвещение». Всегда готовая помочь, все схватывающая с первого слова, она уже полшестого столетия играет важную роль в семье Дьяконовых.

Самой главной моей привязанностью — более всепоглощающей не было — стала Фрида Вигдорова. Я впервые увидела ее у наших друзей Киричниковых зимой 1951 года. Крошечного роста, курносенькая, с необыкновенным синием глаз и улыбки, она мало говорила и шумно не слушала.

Помню, что речь зашла о популярном тогда французском фильме «Скандал в Клошмерле». Фрида вполголоса очень точно воспроизве-



Фрида Абрамовна Вигдорова (1915—1965)

ла интонацию доброго священника, пытающегося урезонить не в меру ретивую и злобную старую деву: «Церковь нуждается в таких избранных душах, но мы не можем вести всю нашу молодежь по этому пути!»

Без остатка отдавала себя Фрида заступничеству за людей, бесчеловечно попираемых советской властью. Она была талантливым журналисткой и публиковала свои статьи в «Литературной газете», в «Новом мире» и даже в «Известиях». Она официально руководила секцией Союза писателей, занимавшейся спорными делами. Устные ее выступления вызвали сопротивление вышестоящих, благодарность спасаемых и восхищение слушателей.

Ее обвиняли в сосредоточенности на отрицательных сторонах, а она отвечала: «Конечно, мы должны отмечать положительные явления. Но

не можем же мы перечислять: в таком-то городе все в порядке; в таком-то техникуме все хорошо; в таком-то колхозе нет никаких злоупотреблений. Я должна бить тревогу там, где плохо!»

Она писала книги об учительском труде, о деятельности любимого ученика Макаренко, Семена Калабалиты (Карабанова). Ее последняя (лучшая!), неоконченная книга («Учитель») — о впечатлениях человека, недавно вышедшего из лагерей и с тяжелым сердцем наблюдающего за новыми, а в сущности неизменными нравами в родной стране.

Мы познакомились в 1951 году и, хотя мы виделись только один раз, она через год, в 1952-м, когда я в Москве сломала ногу, пришла меня навестить. Она уезжала тогда «подальше», чтобы спокойно работать над новой книгой. Вместо нее меня стал проводить ее муж, пародист и сатирик Александр Борисович Раскин (Шура). Разговоры быстро стали доверительными и, когда я уехала в Ленинград, перешли в переписку, интересную для нас обоих.

Прекратил эту переписку года через два Александр Борисович — старинная знакомая, друг их дома, сообщила ему, что этот обмен письмами огорчает Фриду.

В 1954 году я встретила Фриду у общих знакомых в Москве, и она пришла ко мне перед моим отъездом, чтобы передать важные бумаги в Питер.

Я задержалась в библиотеке и опоздала — Фрида уже ждала меня. Мой чемодан ни за что не хотел закрываться, и Фрида решила проблему радикально: она села на строительный чемодан, он захлопнулся, мы, таща его вдвоем, кинулись вниз, Фрида остановила такси, заплатила десять рублей, которых у меня не было, и вовремя доставила меня на вокзал.

После этого я не могла не послать Фриде веселое благодарственное письмо — с оговоркой, что ответа не требую. Она прислала мне смешное письмо, а я ей, и туу она приехала в Ленинград и пришла ко мне. Мы были одни, и я спросила: «Это правда, что нас огорчала моя переписка с Шурой?» — «Правда», — ответила она.

Тогда я стала говорить о своих отношениях с Шурой, о полном отсутствии в них амурных симпатий. Она сразу поверила мне, поняла, что я говорю правду, и беседы наши стали искренними, продолжались в письмах: за неделю мы, по-тогдашнему, успевали послать письмо и получить ответ.

Прерывались письма спиданиями — в Москве, в Ленинграде, на даче у нее или у меня. У нас не было друг от друга секретов, я знала все подробности ее жертвенной, героической жизни и готова была на нее молиться. Я не скрывала от нее свои дурные поступки, свои похождения. И она говорила мне все, что об этом думает, и я раскаивалась и старалась исправиться.

Среди моих недостатков было — и есть — нетерпение: и я ставила ее фотографию на стол, за которым занималась с младшим сыном, и надежде, что она удержит меня от мерзкого крика... Иногда помогало!

Она в моих недостатках видела общее наше горе. «А почему ты так плохо соображаешь?» — спрашивала она печально и ласково. Моя глупость нас не разлучала. Ее участие в моей жизни было непрерывно.

«Игорь требует, — говорю я ей однажды, — чтобы я писала докторскую. А я не хочу — где мне!» — «Подожди, — сказала она. — А что, все, кто защищает, они все подряд умнее тебя?» — «Да нет, — отвечаю я, — и дураки защищают!» — «Так вот, — решительно сказала Фрида, — имей в виду, я твоя и хочу говорить по поводу: моя подруга — доктор филологических наук... Так что пиши, пожалуйста!»

В конце зимы 1964 года в Ленинграде был арестован поэт Иосиф Бродский, теперь широко признанный. Ему ставились в вину аполитичность его поэзии и «тушевство». Было назначено судебное заседание под председательством печально известной судьи Савельевой. Фрида записала весь ход этого позорного зрелища.

Линь под самый конец кто-то сказал судье: «А тут все записывает какая-то!» — «Отнять у нее запись!» — сказала Савельева. — «Попробуйте», — тихо выговорила Фрида, выпрямившись и демонстрируя 150 сантиметров роста. Но записывать больше не стала и позже воспользовалась концом чужой записи. Бродский был приговорен к пяти годам ссылки на север.

В тот день я поздно пришла домой с работы. На лестнице, не доходя до моей квартиры, я наткнулась на Фриду. Она стояла и плакала, не в силах позвонить. Я привела ее домой, сняла с нее шубу; оказалось, она ужасно замерзла. Навел на нее теплые платки и одел ее и усадил ее в огромное низкое кресло, а сидела на полу, оттирала ее застывшие ноги. Это для нас обеих было вполне естественно.

Свои хлопоты о Бродском Фрида продолжала и в Москве. Записи процесса она передала и редакции пяти газет и журналов. Отовсюду она получила решительный отказ, но запись — неизвестно как — попала за границу и вызвала невероятный взрыв негодования и отвращения.

Во время своей заграничной поездки осенью 1964 года Н. С. Хрушев всюду слышал недоуменные вопросы о «каком-то Бродском». По возвращении он вызвал одного из заместителей секретаря Союза писателей. «Кто составил запись дела Бродского?» — «Вигдорова», — ответили ему услужливо. — «Вон ее из Союза писателей!»

Уже стали вызывать сведения лиц для участия в разоблачении Вигдоровой (при этом объясняли, как важно, чтоб «выступили порядочные люди»), когда Хрушев был неожиданно-негаданно «выперт» — лишен должности. Фрида утешала. Ее муж так оценил ситуацию: «Знаешь, если каждый раз, когда тебя будут исключать из Союза, у нас будет меняться правительство, страну начнет лихорадить».

Фрида вскоре перестала угрожать спокойствию СССР. Через два месяца после скандала она заболела и через девять месяцев умерла от рака. Я сидела к ней в больнице и домой — к сожалению, не так часто, как хотела бы, так как изнывала под бременем работ и нездоровья... Последний раз я видела ее за несколько дней до смерти. Она почти не могла говорить и только протыгивала ко мне свои истерзанные уколами руки, и я со слезами их целовала.

С ее могилы я принесла домой красивые листья, следя суеверно, по которому принесши что-нибудь с гроба значит принести смерть. Я без нее не хотела жить. И действительно, еще осенью мое нездоровье перешло в болезнь... Я продолжала преподавать, хотя приходилось при этом сидеть, согнувшись в три погибели от боли и слабости.

Я много думала о том, что, несмотря на все свое обожание, недооценивала Фридино самоотречение. Последняя фраза ее последнего — продиктованного — письма, после описания самоотреченного ухода за нею дочерей, кончалась восклицанием: «Но Боже мой! Что я сделала с их летом!»

Среди ее бумаг было письмо с неизвестным обратным адресом — и Фридиной надписью: «Нине и Игорю на будущий год». Это было приглашение ее поклонницы приехать к ним, в райский уголок Кавказа. Фрида знала, что умирает, и заботилась о нашем следующем лето!

Перед тем как совсем слегла, Фрида продолжала хлопоты о высланном Бродском и за несколько дней до смерти слабым голосом спрашивала: «Ну как там наш рыжий мальчик?»

Несмотря на свое горе, я твердо помнила, что Фрида приказала мне защитить докторскую, и, как могла, трудилась над ней. Первым толчком послужила смерть моего отца 27 апреля 1961 года. Ему немного недоставало до восьмидесяти. Он работал до последнего часа и умер сравнительно легко. Меня мучило раскаяние в том, как мало я уделяла ему внимания и заботы, хотя знала ему цену.

С мыслью о нем и о приказах Фриды я вернулась к своей докторской и за три года написала ее.

Замысел ее был тесно связан с замыслом моей кандидатской работы, но в той был один Китс, а в этой — все его окружение, близкое и дальнее.

Писание все время сопровождалось дополнительным чтением, тщательным обследованием библиотек Ленинграда и Москвы.

Если добавить к чтению и упорному писанию (одна тысяча страниц) усиленное преподавание (общие курсы по западноевропейской литературе и специальные по английской, руководство бесчисленными дипломными и курсовыми сочинениями), большой круг семейных и дружеских обязанностей, то неудивительно, что я не выдержала и на переломе 1965—1966 годов серьезно заболела.

Болезнь была усилена глубоким разочарованием: моя старшая коллега Екатерина Иннокентьевна Клименко предъявила к моей работе столько претензий — как мне казалось, неаргументированных, — что я решила отказаться от защиты.

Отказ был вызван отчасти избытком самолюбия, не позволявшего мне называть свои отвергаемые открытия, отчасти энергией издательства «Просвещение», торопившего меня с представлением второй книги по аналитическому чтению, посвященной английской поэзии (*Three Centuries of English Poetry*, 1967). Как уже сказано, этой книге предшествовала опубликованная мною вместе со старшим другом, Ириной Владимировной Арнольд книга об английской прозе (1962).

Совокупность горестей и трудов привела меня на переломе 1965—1966 годов в Академическую больницу, где я стала умирать от внутреннего язвенного кровотечения. Осталась я жива только потому, что хирург Мария Дмитриевна Комарова, мать моей ученицы Ирины Комаровой, умолила великого гематолога Филатова приехать ко мне в больницу.

В палате стояли все врачи отделения — они стояли даже в коридоре. Филатов поглядывал на меня — глядеть было уже почти не на что — и тихо спросил: «А мой препарат такой-то (не помню названия) вы не пробовали?» — «Нет, профессор». — «А он у вас есть?» — «Не знаем, профессор». — «Так поищите!»

Несколько врачей кинулись искать, а через минуту прибежали с листами какой-то промокательной бумаги. Филатов оторвал полосу и протянул мне с распоряжением неспирально жевать кусочки этой бумаги. Ощущение было, как будто жуешь промокашку, но рассуждать не приходилось. Я покорно глотала по исполнению высочайшего указа, и к вечеру внутреннее кровотечение остановилось.

Через несколько дней я ходила по коридорам, выслушивала радостные слова родных и близких. Среди них были мой старший сын Миша и его хорoshiя жена Оля Невздалова, на которой он женился весной 1963 года. Через год они преподнесли нам роскошный подарок в виде смючка Костеньки (ныне профессора математики в Университете Барселона).

Лето 1965 года я посвятила Костеньке, разрываясь между ним, ночным написыванием диссертации и поездками в Москву к умирношей Фриде. Справедливости требует сказать, что под давлением моих товарищей по кафедре профессор Б. Г. Рейзон прочел мою работу и объявил ее пригодной для защиты по высшему мелкой правки. Этим мне пришлось заняться в больнице, где я провела положенные два месяца лечения. Я нашла пустую, плохо отапливаемую палату и сидела там одна, надел на себя все теплые вещи свои и добрых соседей, — и работала...

Вскоре после моего выздоровления состоялось обсуждение диссертации. Отзывы были благоприятные, защиту назначили на 15 июня 1966 года.

За две недели до защиты лично мое внезапно пожелтело, температура подскочила. Мне был объявлен приговор: «желтуха» — и место заключения: Боткинские бараки, куда бесстрашные посетители лазали через забор.

Защита была отложена до осени — она состоялась 16 ноября 1966 года. Мои оппоненты (и учителя!) В. М. Жирмунский и М. П. Алексеев были обои не согласны со мной, придерживаясь традиционных взглядов, но я хитроумно сыграла на противоречиях в их несогласиях и, по общему мнению, в споре победила. Не было только Фриды, чтобы сказать: «Моя подруга — доктор филологических наук...»

Началась новая жизнь.

Новая жизнь гораздо менее богата «внутренними» событиями. Чувства с годами блекнут, горести и радости теряют остроту. По-новому напряженной была общественная жизнь с середины шестидесятых до середины восьмидесятых годов. Росли свобода слова, свобода мысли, росли журналистская и литературная активность и связи с внешним миром. Расширились и мои возможности далеких поездок по всему Советскому Союзу. В 1975 году состоялась первая из многочисленных поездок в возлюбленный эстонский городок Вильянди. Его украшали и остатки средневековой архитектуры, и щедрость природы.

Мои друзья теперь чаще всего были с младшими. Долгая переписка, а потом встречи и совместная работа соединили меня с Сергеем Леонидовичем Сухаревым, несмотря на тяжкую болезнь много работающим, талантливым поэтом-переводчиком, участником моих изданий. Его жена, тоже талантливая переводчица, Людмила Юрьевна Брилова, «вкусно» и тепло принимала друзей Сергея, ставших и ее друзьями.

Около десяти лет продолжалась моя близкая дружба с Валентиной Евгеньевной Ветловской (Валей), бывшей моей студенткой. Она была —



Нина Яковлевна и Игорь Михайлович (1965)

и, слава Богу, есть — удивительно оригинальной, самостоятельной личностью, выбившейся из маленького провинциального городка, преодолевшей нужду и лишения.

Любимым писателем Вали — о нем она и писала диссертацию — был Достоевский, потрясавший ее изломами в психологическом складе своих героев и своеобразием религиозной мысли. Она была необыкновенно требовательна к тем, с кем общалась, не выносила малейшего несогласия, но в свои отношения с друзьями вкладывала тонкое понимание.

Мне было тяжело видеть ее беспритворность, и, когда Миша, Оля и Костя покинули наш дом, купив с нашей помощью квартиру, я позвала Валу жить к нам. Она то была с нами, то оставалась в неустроенном доме своего дяди, но в общем провела с нами почти десять лет, пока мне не удалось добыть для нее однокомнатную квартиру около Сосновки. Наши отношения постепенно распались, оставив, однако, след в ее душе и моей.

Отделился от нас и младший сын мой Митя. Он рано, в девятнадцать лет, в 1968 году, женился на прелестной, сразу полюбившейся нам талантливой Наташе Кондрашовой. Они уехали от нас, но потом вернулись и жили с нами до своего развода в 1980 году. Она называла нас «папа Гарик»

и «мама Нина», очень смешно изображала, как она и мой муж в начале ночи в неадекватном виде сталкивались у холодильника, чтоб вознаградить себя за целый день воздержания в еде. Моя дружба с ней продолжалась до ее смерти в 1997 году. Ей было всего сорок семь лет.

Большое место в нашей жизни заняла другая Наташа, приемная дочь моей сестры Ляли. Неудачный брак, смерть новорожденного, развод, несчастливые привязанности привели Лялю к решению взить ребенка на воспитание из детского дома. К нам пришла миленькая трехлетняя девочка.

Боюсь, и мама, и я были не на высоте, не выражали поначалу новому члену семейства родственных чувств. Потом это изменилось: я много бывала с нею, учила ее читать, а затем и английскому; позже ездила с ней на велосипеде. Несколько раз мы с Игорем приглашали ее к себе в Прибалтику, куда ездили летом на несколько недель ради новых впечатлений.

Ляля, по интуиции любви, открыла у Наташи способности к рисованию, отдала ее в художественное (Мухомовское) училище. Зная, что еврейская фамилия будет препятствием к поступлению, она попросила свою приятельницу уговорить своего мужа стать приемным отцом Наташи. Так Наташа стала Натальей Михайловной Федоровой, но, разумеется, она была и осталась членом нашей семьи.

В 1968 году я впервые поехала за границу — в Чехословакию. Впечатление от Праги было ошеломляющее. Сначала мы поселились в дорогой гостинице, в новой части города, но, гуляя по старой, замерли от восторга на пороге крошечной гостиницы в улочке, где, стоя на противоположных сторонах, можно было пожать друг другу руки. Улица называлась Вшехрлова.

«Зайдем?» — спросила я. — «Что ты! — ответил Игорь. — Не может тут быть свободного номера». Я настояла на своем, номер был нам предоставлен, и мы тут же переехали.

Мы много общались с коллегами Игоря, чешскими учеными. Они сразу поняли, что мы — не советские, и откровенно говорили с нами о своих обидках. «Почему мы должны в наш праздник воднимать ваш советский флаг?» — говорили они с тоской. И знали, что мы знаем, что не должны...

Еще более волнующей была поездка в Осло по приглашению тогда уже близкого, благодаря длительной переписке, Георга Моргенштерне. Он приказал говорить ему «ты» и называть по имени. Он водал нас гулять, устроил в нашу честь прием с семнадцатью бутылками вина — и долгое путешествие на поезде и на корабле в город Берген. Фьорды, водопады, скалы — все было неправдоподобно прекрасно, too good to be true.

Запомнился нам тюлень, который из бассейна при крошечном кафе на открытом воздухе шлепал по лестнице и оставался на каждом столбике в ожидании угощения. Он ни разу не промахнулся. А в бассейне видное место занимала рыба, неподвижная, с неподвижно открытой пастью. Она не вызвала никаких опасений. Но когда мимо нее резко пронеслись рыбки, она втягивала воду, тихонько закрывала пасть и тут же открывала ее снова...

Все в Норвегии было удобно и привлекательно. Георг жил в загородном доме. Поезда-электрички ходили каждые пятнадцать минут; въезжая в город, они опускались под землю и превращались в метро. Кондукторы в вагонах помогали старым и увечным войти и выйти и к каждому сами подходили за билетами. «У нас, — сказал Игорь, — они были бы профессорами — по манере обращения». — «Академиками», — возразила я. Так мы и делили всех кондукторов. Доцентом среди них не было.

Однажды Георг взял меня с собой за покупками. Мы пришли в чудесный домик около станции.

«Здравствуйте, господин профессор, — сказала продавщица. — Это наша русская гостья? Добрый день, мадам! Я вижу у вас список, профессор! Дайте мне его! Нет, эту ветчину я не рекомендую — она дорогая и соевая, вашей гостье не понравится. Вот эту возьмите, пожалуйста!»

«Русские гости» Георга занимали его близки: почти каждый день к нему приходил его внук, студент. На прямой вопрос дела, почему он так зачастую, он ответил, что ходит слушать «русские разговоры».

Мы очень привязались к Георгу и уехали неохотно.

Пребывание у Георга открыло еще одну новую страницу моей жизни. Он сразу, как мы приехали, посоветовал мне выступить в университете с лекцией по английской литературе и тут же, не смущаясь моей неуверенностью, договорился по телефону о дне, часе и теме. Лекция имела успех и стала началом серии «иностраннх» лекций — в Берлине, Гейдельберге, Бристоле, Дареме.

Одну я читала еще в Осло через несколько дней после лекции в университете, в узком кругу специалистов по норвежской литературе. Она началась со сведений о восприятии творчества Сигрид Унсет в России. После нескольких вводных слов по-норвежски (конечно, заранее согласованных с Георгом) я говорила по-английски. Слушали меня с живым интересом.

Председатель совещания не согласилась с моими соображениями по поводу того, что религиозное равение последнего периода творчества Унсет, очевидное в третьем томе «Кристина, дочь Лавранса», было ее реакцией

на ужасы Первой мировой войны. Председатель обратилась к престарелой сестре писательницы, присутствовавшей на обсуждении, и та, к моей горлости, подтверждала мою догадку.

В дальнейшем я участвовала в конференциях и читала лекции в Берлине и Веймаре весной 1979 и 1980 годов. Однако впечатление об идеологической и общественной жизни в ГДР было тяжелым.

Разумеется, заграничные выступления были лишь небольшой частью моей деловой жизни. Лекции во многих городах России, статьи, книги следовали друг за другом. Особенно плодотворными оказались семидесятые годы, когда подряд вышло пять моих книг по истории английского романтизма. Все они были в той или другой мере подготовлены моей диссертацией.

Не связаны с ней (или мало связаны) только две книги о Байроне. Они возникли из моего длительного и тщательного редактирования перевода поэмы «Дон Жуан», выполненного Татьяной Григорьевной Педич.

История этой книги (подробно рассказанная Галиной Сергеевной Усовой в книге «И Байрона в соавторы возьму») представляет печальный комментарий к истории советской власти. Перевод этот был сделан в тюрьме, где добрый следователь, хотя он и не мог спасти Педич от обвинения в связях с иностранными агентами, добился для нее, по ее просьбе, заключения в одиночной камере на время, нужное для завершения перевода.

Однако для этого подвига недостаточны были щедро выданные ей оригиналы (без комментариев) и англо-русский словарь. Когда Татьяна Григорьевна, отбыв свой срок — уже не в «одиночке», а в лагерях, — вернулся в 1956 году в Ленинград, перевод ее потребовал очень серьезной доработки.

При очень высокой оценке перевода в целом профессор Александр Александрович Смирнов и его ученица Н. Я. Дьяконова единогласно назначили большой срок для исправления неисправного «Дона Джона». Почти два года длилась тяжелая работа; поэма (с моим предисловием) вышла в 1959 году и через много лет привела меня к изучению творчества Байрона и к книгам о нем.

Неумолимое писание книг, статей, учебников и предисловий в последние десятилетия сопровождалось большой и ответственной преподавательской нагрузкой. Появился целый выводок аспирантов, одна другая интересней, умней, самостоятельной, и все они радовали не только научными успехами и завоеваниями, но и душевным расположением. Так возникло старшее поколение моих «девочек» — Гая Яковлева, Тая Зеленко, Светлана Муравьева, Ира Волженская (дочь невинно убиенного ректора университета).

Не могу здесь не вспомнить историю, рассказанную мне покойным братом Иры Валерием. Ее защиту мы праздновали в ресторане «Европейской» гостиницы. В позаный час для меня вызвали такси, и в ожидании его Валерий и я стояли у окна. Неожиданно он сказал: «Вот так в 1949 году я стоял у окна и смотрел, как двое военных с винтовками уводили ее — маленькую Ирочку — в детский дом для детей врагов народа». — «А вас почему не увели?» — спросила я. — «Мне было четырнадцать лет — я не подлежал ни аресту (как мама), ни отправке в детский дом (как Ирочка)».

Еще более страшным воспоминанием поделился на вечеру памяти ректора А. А. Вознесенского его сын Эрик (от первого брака). Он рассказывал, что его отец большую часть своего заключения (1949—1950 гг.) проводил в карьере, где его истязали и держали на стакане воды и ломте хлеба в сутки за отказ признать себя виновным и назвать соучастников.

Однажды его притащили (он не мог идти от слабости) на заседание следственной комиссии, где он вдруг увидел Молотова, Ворошилова и Булганина из Политбюро. Он упал у двери, не в силах ступить и шагу, и с трудом выговаривал: «Скажите им, что я ни в чем не виноват». Но Булганин стал бить его ногой по лицу...

Работа с аспирантами укрепила меня в желании как можно больше и лучше учить. Кроме упомянутых университетских и «иностранных» лекций, я выступала на многочисленных конференциях не только в Ленинграде, но и в Москве, Курске, Казани, Вологде и других городах, а еще больше времени отдавала усердной лекторской работе в двадцати пяти городах — от Минска до Ташкента.

В некоторые из них, например в Тарту, я ездила чуть ли не десять раз и читала там с легкостью и свободой, не всегда дававшимися мне дома.

Самой дальней и богатой впечатлениями оказалась поездка во Владивосток в 1980 году. Так дорого стояла оплата моего приезда, что я ни в чем не смела отказывать и читала «обо всем на свете» до упаду.

В награду меня возили в поразительные по красоте уголки, а однажды, когда мы плыли на корабле в какую-то особо соблазнительную морскую бухточку, мне в руки сулили длиннющую удочку и я поймала лосося! С тремя из своих тогдашних слушателей я до сих пор с удовольствием и теплой переписываюсь.

(Вспоминать вдруг и не могу удержаться от повторения услышанного мной во Владивостоке английского анекдота:

«Дети, — сказала учительница, — пишите сочинение, какое хотите, но непременно назовите Бога, королеву и что-нибудь мистическое». Через пять минут поднялась рука, и Джонни прочитал: «Боже мой! — сказала королева, — я опять беременна, но от кого же?»)

Шутки шутками, преподавание связывало меня не только с прямым исполнением служебных обязанностей, но и с научной жизнью многих университетских городов моей страны. Для них я готовила многих аспирантов, и они, защищаясь под моей опекой и, признаюсь, иногда с изобретением моей помощью, становились участниками борьбы интеллигенции за просвещение родной страны, долгой, страшно долгой жертвы насилия и надругательства.

Не знаю, выдержала ли бы в такое бремя ответственности, если бы не увлекательные и разнообразие летние путешествия: Литва, Латвия, Эстония, Украина, Крым, Кавказ, пушкинские места, Байкал, Енисей, Волга, Курильская коса, Нида, — наша алчность не знала пределов.

Каждая поездка радовала открытиями. Вспомню для примера огромное озеро Эжа (эж) в латвийском местечке Эзерники. Оно изобиловало бухточками, за- и пролинами, островками, камышовыми зарослями, и каждое плавание оборачивалось приключениями и целебным отдыхом.

К концу шестидесятих годов отчетливо стали проявляться результаты идеологического брожения, начавшегося еще в середине десятилетия. Опубликование повестей и рассказов Александра Исаевича Солженицына, его бесстрашные выступления ошумели как взорвавшиеся бомбы. Он воспринимался как возмездие великим правителям России за муки, которым ее так бесстыдно обрекали. Среди его почитателей были наши друзья Ефим Григорьевич Эткинд и жена его Екатерина Федоровна Зюрыкина. Она написала Солженицыну восторженное письмо, на которое он ответил. Они стали встречаться, вместе ездили по стране; через своего друга-врача Эткинда помогли Солженицыну пройти операцию в онкологическом институте на Песочной. После этого его привели в Ушкову и пригласили нас познакомиться.

Машинистка Воронинская, которая печатала рукопись солженицынского «Архипелага ГУЛАГ», была вызвана на допрос в Большой дом и, по-видимому, под тяжелым давлением назвала место хранения рукописи, после чего покончила с собой. Эткинды были на ее похоронах.

Всего этого, в соединении со смелыми публикациями самого Ефима Григорьевича, с его крайне вольными лекциями, глубоко волновавшими студентов, было для советской власти более чем достаточно.

В один и тот же день, 25 апреля 1974 года, Ученый совет института Герцена и Ленинградское отделение Союза писателей вынесли решение об увольнении его из института и исключении из союза за антисоветскую деятельность, высказывания и сочинения.

Я пришла (со страхом, признаюсь) сообщить ему о решении совета. Он был готов к этому, сохранял полное спокойствие, но озабоченно выглядывал на лестницу и из окна на улицу, чтобы проверить, нет ли там наблюдателей.

Погода длилась его борьба с местными (на самом деле с центральными) властями. Он не ходил к нам и не позволял приходить к себе, ни в городе, ни в Ушкове. Один только раз мы встретились в Ушкове на поляне, где со всех сторон было видно, не идет ли какой-нибудь доброжелатель.

О его делах хорошо знали в Европе — он получил около двадцати приглашений на работу. Уезжал он якобы в Израиль, но на самом деле в Париж, в Сорбонну, где работал до пенсии, а потом ездил с лекциями в Германию, Америку, Испанию и с 1989 года — в Россию.

Ефим Григорьевич написал еще несколько замечательных книг по поэтике, опубликовал «там» потрясающую книгу Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», с трудом отсюда добытую, развернул обширную деятельность как глава «бригады» переводчиков русской поэзии, прежде всего Пушкина. Его благоговение перед сокровищами русской литературы обернулось замечательным вкладом во французскую культуру.

Умер он 22 ноября 1999 года после короткой болезни. Последний наш телефонный разговор был в конце октября. Он, как всегда, ужасно мило ругал меня за мой очерк о Фриде. «У тебя получилось лирическое стихотворение, — говорил он. — Пожалуйте, переделай радикально!» Я послушалась, но он уже не проверил меня.

В завершение скажу, что, несмотря на вечную неправдоподобную перегруженность, его хватало на внимание к близким! Он единственный в декабре 1965 года заметил, как я больна, и строго сказал: «Остановись! Ты не выдержишь!» Я действительно не выдержала. Он же в мае 1983 года устроил мою и Игоря поездку в Париж, где мы, хотя, естественно, не могли жить у него, часто виделись и говорили, говорили, говорили...

Он изобретательно придурил нам официального «пригласителя» — коллегу и знакомого Игоря. Это был очень известный востоковед и общественный деятель Жан Боттеро (Jean Bottéro). Человек необычайной судьбы, в отроческие годы монах, он был отпущен из монастыря для изучения внезапно увлекшей его истории языков и литературы Востока. Настоятель обещал принять его назад при одном условии: он не должен был жениться. Но в этом он как раз провинился и вступил в законный брак с молодым врачом, очаровательной полугречанкой Пени Панайотис. Они жили счастливо в загородном доме в Жиф-сюр-Иветт до ее смерти в 2003 году.

Вскоре Жан сам стал сильно болеть. Последние годы он прожил под самоотверженным присмотром своего сына, доктора Алена Боттеро, и доброй сестры его жены. Двадцатого декабря 2007 года он скончался.

К концу 1980-х годов значительно расширились возможности для контактов советских граждан с другими странами. Разлезьтаться стали и наши сыновья Миша и Митя. Митя, еще очень молодой тогда, рано проявил недоожинные способности и трудолюбие.

В 1975 году к общей семейной радости родилась Митина первая дочь — Вера. Прелестный, живой ребенок — ей был годик, когда моя подруга Наталья Федоровна предсказала ей небывалый ум; она рано стала ученицей своей бабушки. Уроки продолжались и тогда, когда мать ее Наташа с Митей разошлась и поселилась очень далеко от нас, у Парка Победы.

И Наташа, и ее новый муж (тоже Дмитрий) были ко мне внимательными. Я два раза в неделю ездила к ним учить Вероньку, проявлявшую «обремененную покорность. Однажды я приехала и застала ее в постели с высокой температурой и столь же высокой «прыгучестью». Она подсакикала чуть не до потолка. Я старалась удержать ее и наваливалась на нее всей тяжестью.

«Ты, бабушка, на меня падешь, как медведь», — жалобно заскулила Веронька. — «А я и есть медведь!» — горделиво провозгласила я. И так в начале восьмидесятых годов я превратилась в бабушку-медведицу, или Granny Bear. Храню это знание и сейчас, к гордости внуков.

Однажды я приехала вечером к Вероньке давать ей урок — и неожиданно встретила ее у самого дома на улице.

«Ой! — говорю. — Не узнала я тебя! А ты меня?» «Не у каждой девочки вместо бабушки медведь», — отвечала моя внучка. Умиляла ее кротость: когда она за ужином шалила, я говорила сурово: «Придется...» — «...Вероньку съесть». — покорно заканчивал ребенок.

С нею я занималась больше, чем с другими детьми, учила ее и французскому, и немецкому. Это оказалось очень кстати: Веронька стала филологом, кончила норвежское отделение университета, занимается преподаванием и переводом. Она проявила немалые способности и страсть к «восточному танцу»: танцевала сама и вела несколько групп учениц.

После первого неудачного брака Веронька вышла замуж за кинорежиссера родом из Калани Элгара Бартенева — талантливого, много, многообщающегося. Их дочке Лидочке, забавному существу, сейчас три года (родилась 5 апреля 2006 года).

Вскоре после развода Мити и Наташи наша малонаблюдательная семья заметила растущую близость между Митей и второй Наташей, приемной дочерью моей сестры Ляли. Наташа к тому времени закончила

Музыкальное училище и работала на телевидении. Они поженились в марте 1983 года, а в ноябре 1984 года родился сын Андриуша. Ляля уступила новой маме и малышу свою комнату, а сама ушла в «людскую», крохотную комнатку при кухне.

Важные события происходили и в семье моего старшего сына. В 1981 году его сын Костя закончил школу и по семейным планам, в которых участвовали старшие Дьяконовы, Игорь и я, должен был поступать на филологический факультет, на отделение математической лингвистики, поскольку интерес питал к обоим наукам. Я уже стала думать, кого из коллег просить о помощи при поступлении Костеньки на мой факультет, как вдруг совершенно неожиданно он подал бумаги на математический факультет университета. На вопрос «Почему?» он по-детски ответил: «Там экзамен на месяц раньше! Мне все так надоело!» Он выдержал вполне прилично и поступил.

Между тем родители его, Оля и Миша, разошлись... Подробностей никаких я не знаю, но осенью 1983 года Миша привел на мою английскую лекцию в Доме ученых милую девочку, которая мне очень понравилась. Я с удовольствием вручила Мише ключ от нашей ушковской дачи — зимой мы теперь туда не ездим.

На майские дни, однако, мы отправились в Ушково — и там встретились с Мишенькой и Ниночкой. Я стала энергично их угощать и с гостеприимной улыбкой предлагала Ниночке выпить водки. Тогда Миша сказал: «Да ты не видишь, что ли?!» Не увидать и впрямь было нельзя: Ниночка заметно увеличилась в размерах. Я стала неуклюже извиняться, меня утомонили, а через двенадцать дней, 14 мая 1984 года, родился внук номер три — Михаил Михайлович. Так назвали его в память о прадедушке Михаиле Алексеевиче, о дяде Михаиле Михайловиче и более всего в честь отца: Ниночка трогательно сказала, что иного имени для нее не существует. Через полтора года родилась девочка Катенька, а через шесть лет, 10 сентября 1991 года, — Лена (мой пятая внучка), названная в память о тете, моей сестре Ляле, умершей 15 января 1991 года семидесяти трех лет от роду.

За несколько лет до смерти, в печали по поводу неспростого брака ее Наташи и моего Мити и болезненности Андриуши, Ляля не раз повторяла мне, что надежду видит только в смерти. «Но я, как мама, буду жить без конца!» — «Вопсе нет; — утешила я ее, — ты похожа не на маму, а на бабушку Футрас; она-то умерла в семьдесят три года! Тебе осталось не так уж много».

На другой день после своей семьдесят третьей годовщины сестра скончалась.

Сама того не ведая, она оставила мне прощальный подарок: я узнала следовала ее самую близкую подругу, милую, добрую, хорошенкую Леночку Веселовскую, физика по специальности. После смерти Ляли она

сперва изредка заходила, чтобы вместе погрустить и поговорить о ней, но постепенно стала и мне другом. Непосредственное чувство соединилось у меня с глубоким уважением к мужеству, с которым она переносит многолетнюю болезнь своего единственного сына и всеело отдается служению ему и его семье.

Все эти годы, освобожденная домашними работницами Дуней, Лидой и другими от хозяйственных хлопот, я продолжала отчаянно много работать и писать. Это уже была своего рода одержимость, я не могла иначе.

В 1984 году вышла моя книга «Стiveness и английская литература XIX века», с попыткой понять сложную творческую индивидуальность во всей запутанности определявших ее обстоятельств; в 1992-м вышла моя книга о Шелли в соавторстве с моим учеником и другом Александром Анатольевичем Чамеевым. Число моих статей тоже энергично росло, расширяя границы исследования.

Свою жизнь я рассматривала как неустанный труд и в этом видела ее единственное оправдание. Тем сильнее была потребность в непрерывной работе, что она казалась единственным способом облегчить преследовавшую меня горечь раскаяния во все более очевидных мне дурных поступках и в недостатке отзывчивости на страдания окружающих.

Я ясно понимала, что недовадо заботы членам своей семьи. В 1987 году, за десять месяцев до столетнего юбилея, умерла моя мама Лидия Михайловна, и ничто уже не могло освободить меня от чувства непоправимой вины.

Спасение было в труде и в позах привязанности. Назову Захара Мироновича и Лию Моисеевну Черфас, рижских знакомых и друзей моих родителей. Захар Миронович был из тех врачей, кто лечил бесплатно, к кому можно было денно и нощно звонить. Он не ходил пешком на работу по той простой причине, что, едва он появлялся на улице, к нему подъезжала какая-нибудь машина и водитель спрашивал: «Доктор, вам куда?»

Отношения его с супругой, блестящим филологом-античником Линой Моисеевной, были достойны похвалы. Он был маленький, незаметный, застенчивый, она — яркая, темпераментная, талантливая певица и педагог. Он сделал ей предложение и получил отказ. На следующее утро, очень рано, в начале восьмого, она отправилась в гимназию, где преподавала латинский язык. У ее подъезда стоял Захар Миронович со скорбью на лице и с букетом в руках. Он молча, почти умоляюще, протянул ей цветы, и она быстро проговорила: «Да, да, да». Брак этот был очень счастливым.

Хотя последние годы они из-за отъезда дочери провели в Израиле, они скучали по своей родине Риге, хранили о ней память и до конца оставались тесно связанными со своими латвийскими соотечественниками. Я послала в издательство университета Риги нежные воспоминания о Черфасах в связи с приближением празднования столетия со дня рождения Захара Мироноуэча. Посвященный ему сборник недавно опубликован.

Дочь близких Черфасам врачей Тани Амелина, человек одаренный, трудолюбивый и инициативный, не только защитила кандидатскую диссертацию, но опубликовала вместе со мной в восьмидесятые годы две хрестоматии — антологии английской литературы XIX и XX веков.

Таня участвовала в жизни нашего дома, жила у нас на даче и много путешествовала с нами — в Латвию, Эстонию и даже по Енисею, от Красноярска до острова Диксон и обратно. Она задарила меня подарками, приглашала и чудно принимала меня у себя в Бостоне, куда переехала в 1990-е годы. Из Америки она приезжала к нам Россию, а летом 2007-го — в Монпелье, где (с 2000 года) я провожу свой отпуск в семье сына Миши. Таня, конечно, выделяется из остальных, но в целом характерна для круга любимых взрослых учеников, украшающих мою жизнь в последние три-четыре десятилетия.

Хочется с благодарностью упомянуть выдающегося педагога-организатора и ученого Валерия Тимофеева.

Тамара Селитрина из Уфы уже несколько десятков лет помнит, как я помогала ей при защите кандидатской и докторской диссертаций, и до сих пор не только звонит и пишет, но и приезжает ко мне с банками башкирского меда. Крайне добросовестная, она равно неутомима в профессорской и научной работе.

Незурядных успехов добилась и моя бывшая аспирантка из Воронежа Маша Попова, давно уже профессор, автор многочисленных трудов, опубликованных у нас и в Америке. Она не забывает свою старую «училку» и при всей своей талантливости и самостоятельности полушутливо признает ее авторитет.

Взаимная привязанность соединяет меня также с питерскими моими ученицами: Марианной Родионовой, Наташей Мадорской, Леной Приятковой, Катей Левченко, Машей Крыловой, Олей Профе, Светланой Букревой, верными друзьями и самоотверженными преподавателями. Всех их даже перечислить трудно.

Самым главным душевным событием последней четверти века стал мой аспирант Александр Анатольевич Чамеев. Несмотря на двадцатидевятилетнюю разницу в возрасте (он родился 14 марта 1944 года —

как раз между моими сыновьями), у нас возникла такая степень взаимного понимания и сочувствия, какая редко выпадает на долю людскую.

Он родом из Башкирии, отец его заслуженный учитель, мать — домашняя хозяйка; со школьных лет он увлеченно занимался и пришел поступать в Ленинградский политехнический институт, но не набрал проходного балла. Возвращаться домой с позором он был не в силах и запербывался в Авиационное училище, служил вполне успешно, закончил «что-то высшее» и женился.

Вернувшись после службы в Ленинград, родив дочь, он возобновил прежний интерес к литературе и решил получить второе образование — на филологическом факультете Ленинградского университета. Учился он, конечно, на вечернем — днем работал, и там, в 1973 году, на его IV курсе, мы встретились. Каждый из нас, как мы потом выяснили, почувствовал, что имеет дело с не вполне обычным человеком. Я до сих пор помню его умный, пристальный взгляд.

На V курсе я у них не преподавала, но он приходил ко мне в кружок по изучению западноевропейской литературы. Я не сомневалась, что он попросит меня руководить его дипломной работой. Распределение происходило в конце V курса, когда мы не выделяли.

Молодая преподавательница (тоже моя бывшая ученица) сказала мне: «Конечно, такой хороший студент, как Чамеев, должен бы быть вашим дипломантом, но он так просил меня...» «Возьмите его, разумеется», — ответила я, досаду на себя, что так могла в нем ошибиться.

На VI курсе я снова много преподавала в группе Чамеева, относилась к нему хорошо, слушала и привела его доклады. О его дипломной работе мы не упоминали. Когда я была назначена его вторым оппонентом, я сказала ему: «Вы знаете, первый оппонент — профессор Рейзов, а он оппонент всех моих дипломантов. Если он нападет на вас, я, из страха перед его расправой с моими, вряд ли смогу вас защитить!»

Чамеев принес мне свое сочинение о Джейн Остен в девять часов вечера накануне защиты — без подписи руководителя! «Я не имею права...» — начала я. Он прервал: «Она не подписала, потому что ей я тоже принес работу только сегодня!»

Назавтра первый оппонент, Рейзов, говорил 35 минут. Он произнес несколько неопределенно хвалебных слов, а затем заявил: «К сожалению, работа крайне страдает от того, что не сообщает об огромном, решающем влиянии, которое имели на произведение Остен мысль и творчество французского писателя Клода Мисперо». (Никто из присутствовавших никогда этого имени не слышал. — *И. Д.*) И далее Рейзов привел бесчисленные параллели между двумя авторами.

Я продолжила диспут среди мертвого молчания. Никак не реагируя на речь профессора, я подробно и очень высоко оценила работу и после долгой паузы, забыв осторожность, добавила: «Что касается влияния на Остен со стороны Мэсперо, то у провинциальной девицы, дочери сельского пастора, не было возможности даже знать о нем. Кроме Руссо и Вольтера, в сельской Англии французские писатели были неизвестны».

Наступила тишина. Комиссия мужественно поставила Чамееву «отлично с отличием», и его пригласили в аспирантуру... к Рейзову. Он не стал туда поступать, но принял приглашение преподавать на кафедре английской филологии. А на аспирантский экзамен явился только в 1978 году, когда тяжело больной Рейзов окончательно ушел из университета.

Так Александр Анатольевич стал моим аспирантом и другом. Из университета мы всегда шли пешком и беседовали, как умеют только в России. В знак равенства отношений и обращалась к нему только по имени и отчеству — и так до сих пор. Даже подруги у нас были общие — замечательные женщины Ирина Сергеевна Ковалева и Александра Кирилловна Савуренюк. Если они болели, мы навещали их вместе.

Однажды по дороге домой я задала ему вопрос: «Почему вы не попросили меня руководить вашей дипломной работой?» — «Почему? — едва не закричал он. — Мне передали, что вы от меня решительно отказались!»

Больше никаких «недоразумений» в нашей истории не было. У нас дома он получал наименование Любимчик и по сей день, несмотря на зрелый возраст, носит его.

После победоносной кандидатской защиты Чамеева и выхода его книги о Мильгоне мы стали много писать вместе — статьи, рецензии, доклады и даже книгу. Она была посвящена Шелли, получила хорошие отзывы, и главу из нее — об элэгии «Адонис» — я изложила в Нью-Йорке в мае 1992 года на конференции в честь двухсотлетия со дня рождения Шелли.

Постепенно соотношение наших сил меняется: раньше главную правку наших работ делала я, теперь я покорно принимаю его. По мере того как выходят его собственные книги, статьи, предисловия, гордость моя за друга и сотрудника растет.

В последнюю четверть века Александр Анатольевич так много делает для меня, что я едва могу представить свою жизнь без него. От его подарков (не только книжных) скоро сломается мой шкаф. Он заботится даже о моей элегантности.

Неизменно его участие в моих юбилейных событиях: он выпустил несколько биографий моих сочинений, не забыв даже о сокращенных

и облегченных переизданиях английских классиков для старших школьников и студентов; он издал книгу моих избранных статей; все издания снабжены биографическими сведениями и трогательными характеристиками.

Я хотела бы рассказать еще о моей дружбе с двумя видными английскими учеными.

Один — Филип Лонгворт (Philip Longworth) — возник в моей жизни весной 1965 года, когда я, по просьбе администрации Пушкинского Дома, куда он был командирован, возила его любоваться Петергофом. С тех пор началась переписка, прерываемая только короткими свиданиями в Петербурге и последний раз — во Франции.

Он — историк России, автор выдающихся исследований общего и частного характера (например, «Три императрицы» — The Three Emperesses, 1972, — о Екатерине I, Анне и Елизавете). Он много лет преподавал в Канаде и только в пенсионные годы переютился в Лондон. Живой ум, широота интересов (перевел, например, лермонтовского «Героя нашего времени»), чувство юмора, бескорыстная преданность науке — все это мне очень дорого.

Не менее важным, хотя по срокам более коротким, было для меня общение с профессором Генри Гиффордом (Henry Gifford). Оно началось с его рецензии на мою книгу «Байрон в годы изгнания» (1974) в литературном приложении к «Times». Положительная в целом рецензия упрескала меня только в преувеличении таланта Байрона. Через год, когда вышла моя книга «Лирическая поэзия Байрона», я послала ему экземпляр на адрес «Times» с коротким благодарственным письмом, в котором была одна хитрая фраза: «Что касается преувеличения таланта Байрона, это старая русская традиция, которая восходит к декабристам, но даже сейчас заключает больше смысла, чем вам кажется» (makes more sense than you are prepared to credit us with).

Генри Гиффорд понял намек и немедленно ответил. Так завязалась переписка, длившаяся до его смерти в 1995 году. Это был человек большой тонкости, обаяния и широоты интересов. Русскую литературу он читал и тщательно изучал с тех пор, как во время войны перечитал «Воину и мир».

В 1983 году он и его жена Розамунда приехали к нам на один день в Париж, где мы жили у милых Боттеро. Он запомнил, что я сказала ему: «Ваш приезд — очень русский поступок». И действительно, русская культура оказала на него серьезное влияние.

В 1988 году, под влиянием резких изменений горбачевской эпохи, в России, казалось, начались демократизация и новое расширение

международных связей. Наступила пора надежд. Появились все больше новых книг и переводов. Россия — быть может, навечно — ощущалась как часть культурного человечества, мировой цивилизации; страстно хотелось, чтобы побольше знали о нас «там», а мы о них — здесь. Общение в международном масштабе представлялось естественным, закономерным, необходимым.

Под влиянием общих надежд Игорь и его английские приятели, а также всех Генри (Филип в это время был еще в Канаде) стали серьезно обсуждать и готовить мое путешествие в Англию. Подумать только! Всею жизнью занимаясь английской литературой, пропагандируя ее устно и письменно, я ни разу не видела берегов Британии!

Мы провели неделю в Лондоне, а затем путешествовали по маршруту, разработанному Генри: жили по два-три дня в Оксфорде и Кембридже, где я еле на ногах устояла при виде таких знакомых и дорогих серулу реликвий, а потом приехали к Генри в Бристоль, откуда он возил меня, например, в прославленное Вильямом Вордсвортом Тинтерское аббатство.

Старинный город Бристоль тоже оставил в душе глубокий след, усиленный теплым гостеприимством Генри. Как и в Париже, мы просто не могли наговориться. Его уважительный интерес к России, а наш — к Англии составляли удивительную гармонию. Он знакомил нас с друзьями, заставляя их дополнить его рассказы, и взял с собой на заседание в университете.

Меня встретили очень дружелюбно и тут же пригласили прочитать лекцию на тему «Английская поэзия в России». Я уточнила: «Английская романтическая поэзия в России». Это и так уже очень много, а если все брать, вы не выдержите».

На подготовку мне оставались вечер, ночь и раннее утро. Я оцепенела от страха. Да, я была опытным лектором и по-английски привыкла читать, но за границей выступала только в Берлине и Осло, а «это тебе не Англия», как говорит герой Чехова. Тем не менее на лекции я была спокойна, и все прошло хорошо. Я была награждена бурными аплодисментами и многими вопросами. Среди них был такой: «Что вы думаете о перестройке?» Я ответила честно: «Мы надеемся на лучшее и готовимся к худшему». Слова эти оказались пророческими.

По возвращении я, как мне много лет спустя напомнили мои студенты-герценовцы, на их вопросы о моей поездке ответила так: «Не прошло и семидесяти лет, как я увидела страну, которой посвятила целую жизнь!» А Лондон оправдал стишок, выученный студентами по моей подсказке:

One foot up and one foot down —
That's the way to London town.

А всерьез скажу так: многовековая культура, тщательно и любовно хранимая, почтение к старинным обычаям, памятники великим поэтам, ощущение вечности ни за что не покинут посетителей старых английских университетов. Понятие, воли и труд человека дивные дна творят!

Царствование Горбачева подвело Россию к кризису десятилетиям. Об этом времени и теперь много спорят. В нашей семье восьмидесятые годы были очень насыщенными. Мы говорим об общих волнениях в связи с умом непостижимыми политическими переменами, многое менялось и в нашей семье. Миша и Митя много ездили. С конца 1980 — начала 1990-х годов поездки моих детей становились все более длительными и далекими.

Внук Костя закончил математический факультет университета в 1986 году; еще до окончания он женился на бывшей однокурснице, и 1 апреля 1985 года стал отцом Кесении. Работал он в математическом институте успешно, но почти бесплатно и рано стал ездить за границу на заработки. С 1999 года он — профессор в университете Барселоны.

Дочь его, Ксенька, моя правнучка, поразительно способная, училась у меня английскому и французскому; она рано начала писать интересные, своеобразные стихи, по-русски и по-каталонски, печаталась и в России, и в Испании. В Барселоне она, без неприятностей за непосещение, закончила филологический факультет университета, пишет и печатает рецензии о современной каталонской поэзии и часто выступает с чтением русских и каталонских стихов и переводов их с одного языка на другой. Кроме того, она ведет занятия с начинающими поэтами, которых она учит писать каталонские стихи. Жизнь ее насыщена и самостоятельна. Она живет на свои деньги, отдельно от родителей — и ничего о себе не рассказывает.

Мне она пишет милые открыточки с дивными видами Испании. Описание — как в детстве: Dearest Granny Bear, а подпись, для особого моего удовольствия, — With love and fear.

Вот стихотворение, прочитанное ею на поэтическом вечере в Петербурге:

С моей прабабушкой я вижу дважды в год
Во время летних и рождественских каникул,
Когда мне двери открыть она идет,
Уверен шаг ее, скрывающий сквозь маску.
Она словарь и книги берет по местам
И крепким чаем потчует меня из чашки
С портретом Байрона, поздравленным ей там,
Где он родился и играл с соседом в шахки.

Так речь ясна ее, и взгляд так прям,
От памяти ее бегут мурашки.
Моя прабабушка рассказывает мне
О днях студенчества в мечтательной печали,
О всех друзьях, погибших на войне,
О том, как в детстве Новый год в семье встречали.
Январский вечер заглядывается в окне,
Она не видела, как люди оживали
На фотографиях, приколотых к стене,
В которых бабушку узнала б я слава ли.

Как бы хотелось, чтобы эта трудная, необычная жизнь сложилась счастливо, чтобы Ксения нашла достойного спутника! Как хорошо, что она дружит со своим дядюшкой Мишенькой и тетюшками, Катенькой и Леночкой, которые моложе племянницы!

Грустно думать, как разбросаны нынче по всему свету русские интеллигентные семьи, как трудно предсказать, что из всего этого получится, представить себе, к чему приведет следующий поворот.

На каждом шагу подстерегают неожиданности...

В моей жизни с конца шестидесятых годов все большее значение приобретал университет города Тарту (по-старому — Дерптский университет). Меня отослала преподавательница-эстонка Аста Луига, уговорила меня стать ее руководителем в Тарту — приезжать туда с лекциями и участвовать в их регулярно издающихся английских сборниках.

Лекции мои посещались сотнями студентов — в советское время преподавание в Эстонии резко ухудшилось, — во мне они ничего советского справедливо не ощущали и ткнулись ко мне как к редкому, в их скорбных условиях, источнику знаний.

К тому же я устраивала английские вечера с чтением знаменитых английских детских стихов (*nursery rhymes*) и пением английских песен. Мы объявляли шуточный конкурс, и я получала приз — синий с белым треугольный платочек с латинской надписью: от *Universitatis Tartuenssis*.

Однажды, после выхода очередного тартуского сборника, я получила письмо от... Грэма Грина. Это был ответ на мою восхищенную статью о его рассказах, которые были гораздо менее известны, чем его романы, и не все из которых были переведены на русский язык. На посланном мною Грину оттиске была дарственная надпись, составленная из пошлых реплик одной его очень глупой героини с дурачком именем Поору. Привожу ее по-английски (слова Пули подчеркнуты): *«To the Mr. Graham Greene who knows so much about men and women*

and has made it so clear how wonderful it is to be a writer — from one of his numerous Russian admirers who hopes he will think her less silly than his Поору».

Он мило ответил мне, что читал мою статью не просто с интересом, а с удовольствием, что с ним бывает редко. И кончил трогательно: «Со мной всегда память о нашем прекрасном городе!»

Мне выпало счастье увидеть и услышать Грина в Доме писателей, куда пригласили меня и Чамеева. Во время беседы он на вопрос о своих религиозных убеждениях ответил: «Я католик-агностик». — «Как странно! — откликнулся кто-то. — Если католик, то не агностик, а если агностик, то не католик!» — «Почему?» — возразил Грин. — Я верю, но я не знаю!»

Грин для меня так и остался «эстонской» встречей. Действительно эстонским было знакомство со знаменитым историком религии профессором Уку Масингом, который прославился тем, что во время немецкой оккупации два года прятал в своем подвале евреysкого ученого Исидора Левина и кормил из скудного заработка своей жены-мелестры, поскольку советская власть его из университета выгнала. Мы с мужем посетили его в 1948 году и беседовали, с полным взаимопониманием, по-немецки. «Вы — живые люди», — написал он нам. Игорь безуспешно пытался издать что-нибудь из его сочинений в Ленинграде. Во время одного из последних моих приездов в Тарту профессор Масинг передал мне просьбу к нему зайти. Как оказалось — проститься. Через несколько дней он умер, а позднее муж и я участвовали в таллинской радиопередаче, посвященной его памяти...

Интеллектуальная интернациональность! Менее тесной, но тоже чрезвычайно значительной была для меня связь с литовским университетом в Вильнюсе. В конце семидесятых годов ко мне явился незнакомый мне, но сразу вызвавший симпатию литовец Гражвидас Кирвайтис. Он познакомился с моими работами и «выбрал» меня в руководители.

Положение его было слишком понятно: угодничающее перед советской властью начальство литовского университета езда не исключило его с последнего курса за посещение церкви в пасхальную ночь и, конечно, не желало принять его в аспирантуру. Ему ничего не оставалось, кроме как искать пристанище в Ленинградском университете.

Отказать Кирвайтису я не могла: мы работали вместе, подружились навсегда (последний раз он приезжал весной 2007 года), и он выкарабкался из трудного положения задолго до освобождения Литвы. Теперь возглавляемая им кафедра поддерживает добрые деловые отношения с соответствующей кафедрой Академии наук в Петербурге.

К радиообразно моих преподавательских, научных и популяризаторских обязанностей нельзя не добавить еще две: участие в духе Ученых советах — института Герцена и университета и работу (по сей день!)



Дмитрий Сергеевич Лихачев и Нина Яковлевна (1988)

в редколлегии «Литературных памятник» — вначале под председательством академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Именно он пригласил меня туда, так как ему понравилась моя разгромная рецензия на халтурное предисловие к книге Джойса «Портрет художника в молодости».

В совете университета я работала сравнительно недолго, а в герценовском состою до сих пор, хотя на два года вылетала из него за то, что поправила (в личном разговоре) приведенную председателем цитату из Лермонтова: «В небесах торжественно и тихо» (вместо «чудно»).

Несмотря на отчаянную и разнообразную работу и многие за нее поощрения, несмотря на регулярные публичные лекции в Доме ученых и официальные за них благодарности, несмотря на пышное празднование на филологическом факультете университета пятидесятилетия моей педагогической деятельности (ноябрь 1984 года), в декабре произошло событие, которое я ощутила как катастрофу.

Заведующий кафедрой профессор Юрий Витальевич Ковалев (между прочим, мой бывший ученик) сообщил мне, что до очередного переиз-

дания на должность осталось полгода, а поскольку еще через полгода мне исполнится семьдесят лет, я не могу рассчитывать на нагрузку — разве только на почасовую.

Это был жестокий удар. К тому же я была еще в очень хорошем физическом состоянии — плавала, гребла, ходила на лыжах, ездила на велосипеде, а в университете после сорока лет преподавания продолжала работать с полной самоотдачей. До сих пор не совсем понимаю это решение.

Незадолго до моего ухода Ю. В. Ковалев спросил меня: «А аспирантов наивных вы не бросите?» — «Нет», — говорю. — «А занятия на вечернем отделении вы доведете до конца? Ведь мы вам платить больше ничего не будем!» — «Юрий Витальевич, — сказала я, — леди от не-леди отличается тем, что не торгуется». (Об этом разговоре напоминала мне недавно — с моих же слов — одна моя бывшая аспирантка. Я о нем совершенно забыла.)

Просить помощи, жаловаться было некому. И тут заведующий кафедрой зарубежной литературы Института имени Герцена, тогда еще доцент, Геннадий Владимирович Стадников пригласил меня преподавать, а первые два года даже заведовать кафедрой, пока он не защитит свою докторскую диссертацию.

Я была совершенно растеряна, но бывший мой товарищ по Ученому совету сказал мне: «И не думайте отказываться! Геннадий Владимирович — наделенно хороший человек!» Правоту этих слов я чувствую больше двадцати лет. Они убедили меня в трудную минуту, помогли мне понять, что глупо рыдать у заклопывающейся двери, когда передо мной гостеприимно распахивается другая. С февраля 1985 года я стала «герценовкой».

Институт Герцена очень по-доброму, по-дружески отнесся к своей новой коллеге. Решающую роль играл, конечно, Геннадий Владимирович. Когда через чуть более чем полгода наступило мое семидесятое рождение, его очень душевно праздновали на заседании кафедры, и я вполне искренне сказала: «Мой дом теперь — институт Герцена!»

Я продолжала много писать и заниматься. В моих работах все чаще участвовал Александр Анатольевич Чамеев. У него я черпала энергию и вдохновение, он помог мне пережить смерть моей матери на сотом году жизни. Мысль ее до конца оставалась ясной, слезла она только за три месяца до смерти — 24 марта 1987 года. Она была очень умным, внутренне сильным человеком, умевшим направлять жизнь сложной, многоликой семьи. На смертном одре она шепот сказала: «Лидя Футра!» Она увидела себя молодой...

Несмотря на общее доброе отношение ко мне, положение мое вряд ли можно было назвать простым. Все и всё было другое. Институт Герцена имел свои традиции, согласно которым главное внимание отдавалось

обучению. Гораздо тщательнее разрабатывались лекционные курсы, программы, основной была проверка, систематичнее соблюдалось соотношение общих и специальных курсов.

Семинарские занятия занимали больше времени, перерастали в дискуссии, в подробное обсуждение читаемых докладов. Все это было мне близко, но непривычно и нелегко. Даже к менее формальному, чем в университете, общению преподавателей и студентов надо было привыкать. Ректорат заметнее участвовал в жизни факультетов и кафедр; заведующие кафедрами чаще вызывались для инструкций и наставлений.

Иной была и обстановка на моей новой кафедре. Она находилась в процессе роста и освоения новых принципов. Из давних преподавателей сохранялись только Геннадий Владимирович Стадников, Людмила Николаевна Болтовская, Наталья Викторовна Тишунина. Втягивались и новые лица — Татьяна Львовна Гурина, Вероника Дмитриевна Алташина, Александр Анатольевич Чамеев, Алексей Иосифович Жеребин, Ольга Михайловна Смирнова, Юрий Юрьевич Поринен. Все они были и научными работниками, и методистами. Это сочетание было очевидно в отличие защищенной докторской диссертации Геннадия Владимировича Стадникова.

В восьмидесятые годы в мою жизнь вошло одно волшебное понятие: Кясму. Оно затмило даже любимый нами городок Вильянди, где мы провели много радостных месяцев летом и зимой. Старинные, словно вырезанные улочки, бесконечное озеро, домик с чудесными, добрыми хозяевами, быстро ставшими друзьями и соотрапезниками, — забыть все это было нельзя. Но Кясму... Это небольшое приморское селение (одна улица и расходящиеся в стороны дорожки) в ста километрах от Таллина, в заповеднике, особо охраняемом государством. В первый раз мы были там в 1975 году по совету моей эстонской аспирантки, и с нами приехали туда наши любимые Кирпичниковы. Но потом страсть открывать новые земли отвлекла нас в другие стороны (например, Латвию и Литву), и мы вернулись в Кясму лишь в 1983 году.

Красноречие мое иссякает при одном воспоминании. Белые домики на берегу моря скоро кончаются. Если хочешь, ты можешь идти дальше вдоль моря, но единого берега нет, есть только бухты и бухточки, одна другой краше, как бы отдельные мелкие пляжи. И ко многим вплотную подходит лес, с дорожками, тропинками невозможной замечности, с полянами и просеками.

Или, например, такая прелесть. Ты идешь по краску леса и моря; вдруг земля поднимается и начинается крутая гряда. Смотришь напра-



Ольга Александровна Смирнинская и Нина Яковлевна (1985)

во — слева залива, смотришь налево — зелень леса и озеро, большое, широкое, непереплываемое. Тишина, абсолютная чистота, от красоты даже больно. Больно думать, что придется отсюда когда-нибудь уехать.

А еще в лесу уйма ягод — черники, брусники, земляники. Я набираю около тридцати банок для Андрюши, сына Мити и Наташи. Столовая, магазинчики — все замечательно, все цены разумны и доступны. Честность потрясающая: у меня из сада при доме дважды улетали с патишютой веревки шелковая жакетка и блузка — и обе потом оказывались на заборе со стороны улицы, поджидала свою хозяйку.

К приезду русских эстонцы относились лояльно — они понимали, что слова «советские» не ездят.

Волшебное Кясму хорошило от радости общения. Нашей соседкой многие лета была Ольга Александровна Смирнинская. Мы повзрослели еще в 1975 году, когда впервые были в Кясму с милыми Кирпичниковыми, которые после 1980 года перестали ездить с нами из-за нездоровья Моисея Ильича.

У Ольги Александровны были позади очень драматические отроческие и юношеские годы. Сюжет был прямо из детской сказки о злой

матехе, но принял крайне усложненную форму. Стойкость и мужество, угаслаеванные от отца, выдающегося ученого, и матери, отпрыска старинной дворянской культуры, и еще больше обожание и абсолютное понимание супруга, Вольфа Соломоновича Певзнера, помогли Ольге Александровне победить в жизненной борьбе.

Жизнь ее — безостановочный творческий труд. Ольга Александровна отдаст себя без остатка преподаванию в Московском университете, созданию книг и статей, редактированию работ многочисленных учеников из всех частей света, поездкам в европейские университеты. Она умеет увлекать, говорить спокойно и деловито, умеет быть красноречивой, сохраняя верность простоте и безыскусственности, умеет терпеливо слушать, не выказывая свое неизмеримое превосходство. Она умеет сочетать глубину изучения с разнообразием изучаемого, требовательность к себе и сосредоточенность на своих задачах с добрым интересом к окружающим.

Ничего в ней нет от сухого педантизма ученого, обособления себя в своей науке. Она прежде всего очаровательная женщина, с веселой улыбкой и полной естественностью обращения. Ее ответ на злобные неожиданные нападки неформального оппонента по докторской диссертации сочетал неотразимое опровержение и изысканную вежливость.

Число ее друзей и почитателей изумляло бы, если бы это была не она. Она оборочивала даже такого строгого судью, как Игорь; с ним она вела ученые разговоры (в которых я ничего не понимала), а со мной — общечеловеческие, и я называла ее «наша подружка Ольга Александровна».

Много, много раз была Ольга Александровна главной радостью праздничной части нашего лета, той, которая отводилась для отдыха и развлечений. Другая часть проходила в Ушкове и была посвящена занятиям с внуками. Всех внуков я начинала учить в четыре года — Вероньку в 1979 году; затем, в конце восьмидесятых, моими учениками последовательно становились Мишенька и Катенька, дети моего старшего сына и его второй жены Ниночки, и Андрюша, сын моего младшего сына Мити и его второй жены Наташи, приемной дочери моей сестры Ляли.

Миша, Ниночка и их дети проводили лето в Ушкове с середины 1980-х годов до середины 1990-х, когда построили собственную дачу в Горьковской.

Веронька жила в Ушкове с лета 1975-го и до сих пор там много бывает. Помню, летом 1985 года Миша и Ниночка ушли куда-то по срочному делу. Коляска с маленьким Мишенькой осталась в столовой, где я занималась английским с Веронькой и ее подружкой Соней, внучкой моих друзей Кирпичниковых. Я застала их и задавала правильно вопросы по-английски и до сих пор помню чуть не двадцать вопросов к фразе о маленьком Мишеньке: *Little Michael is drinking his sweet water very greedily* (Маленький



Слева направо: Ефим Григорьевич Эткинд, Игорь Михайлович, Нина Яковлевна, Нина Дьяконова, Миша Дьяконов, Елена Яковлевна Шрейдер (Ляля), Вера Дьяконова, Митя Дьяконов (1989)

Миша жадно пьет свою сладкую водичку). Сейчас Соня — выходящаяся социолог, автор книг и статей из истории русской дворянской интеллигенции, замужем за французом и половину времени проводит в Париже.

Последняя Мишинга и Нинина дочка Леночка родилась уже в 1991 году, но тоже попала в кровожадные лапы бабушки-медведицы (Granny Bear), хотя и переносит их плохо...

Тысяча девятьсот девятые годы возвестили о себе экономическими потрясениями. Все стало не по карману, жить было не на что. В моей жизни 1991 год стал одним из самых печальных. Пятнадцатого января умерла моя сестра Ляля. У нее был рак, но смерть наступила от инфаркта — не выдержало сердце. У нас были хорошие, близкие отношения, но меня отягачали бесчисленные привязанности. «Ты была моей первой несчастной любовью», — сказала она мне однажды, хотя понимала, как я к ней привязана.

Сама Ляля была человеком редкой доброты и самоотверженности и помогала всем, кому могла и не могла. Много, в частности, она сделала

для моего старшего сына Миши, поощряя его интерес к физике. Благодаря ей по окончании университета он стал учеником замечательного ученого и человека В. И. Переля.

За смертью Ляли последовали смерти двух моих обихих с Александром Анатольевичем Чамеевым друзей — Александры Кирилловны Сапуренок (13 марта) и Ирины Сергеевны Ковалева (13 мая). Обе они были необыкновенными женщинами, людьми ясного ума, остроумия, трудолюбия и старинной интеллигентности.

Александра Кирилловна очень поздно написала свою докторскую диссертацию, и я была ее рецензентом. У меня было много замечаний, и несмотря на нашу дружбу, я их высказала на заседании. И позже она мне сказала: «Вы во всем были правы, я все ваши пожелания выполнила». И она же, задолго до начала работы над собственной диссертацией, сказала мне очень строго: «Нина Яковлевна, в ближайшее время на нашей кафедре начнется процесс сплошной докторизации; вам нужно возглавить шествие».

Занимались ее не только крупные проблемы, но и мелкие. Войдя в буфет и увидев, как я поглощаю пирожок с повидлом, она сказала: «Нина Яковлевна! У вас такой плебейский вкус!» Совершенно точно! Я и сейчас обожаю любое сладкое, даже «подушечки»!

Работала она, пока не упала. Александр Анатольевич и я увидели ее, когда она шла на лекцию после того, как побывала у врача, сказавшего ей, что она серьезно больна и должна немедленно идти домой. Мы тише-но пытались уговорить ее отменить лекцию. Она не послушалась. Через несколько дней ее не стало.

Больше чем героиней была Ирина Сергеевна Ковалева. Закончив III курс филологического факультета, она добровольно отправилась на фронт и всю войну прошла медсестрой. Ее возлюбленный, обретенный в армии, погиб в штрафном батальоне: его отправили туда — после приговора к расстрелу — за то, что он помог умереть несчастному солдату, у которого были оторваны обе ноги и правая рука.

После войны Ирина Сергеевна закончила оставшиеся два курса, написала прекрасную книгу, защитила диссертацию и осталась преподавать в университете. Эту службу она совмещала с героической работой в Горьковете, где выручила, можно сказать облагодетельствовала, очень многих.

Ее требовательность к себе была огромна. Однажды, слушая резкий отзыв о диссертации, она сказала: «Если бы обо мне такое сказали, я бы застрелилась».

После тяжелого инсульта она лишилась дара речи, но бесчисленные друзья посещали ее до последнего дня. Когда она умерла, я вспомнила,



Нина Яковлевна и Игорь Михайлович в Киркенесе (Норвегия) (1989)

как во время моего прощального слова на похоронах обихей приятельница она прошептала: «Я бы хотела, чтобы вы говорили на моей могиле!» Я, разумеется, эту просьбу выполнила.

Последней нашей преподавательницей, погибшей в 1991 году, была Нина Александровна Жирмунская, красавица, умница, автор многих замечательных книг и статей, жена нашего учителя Виктора Максимовича Жирмунского и мать его двух дочек. Ее насмерть сбила машина, внезапно выехавшая на Университетскую набережную с Менделеевской линии.

Несмотря на серьезность и напряженность ее работы (она издала все сочинения своего супруга), она любила и умела шутить. После удачной защиты своего аспиранта Алексея Иосифовича Жеребина (ныне доктора наук и моего глубокоуважаемого коллеги-гершенюшва) она подошла ко мне и объявила: «Ну вот! У меня тоже бывают хорошие ученики. Не заглядывайте своим Чамеевым!»

Таких блестящих преподавателей, совмещающих профессиональное мастерство с деятельной преданностью ближним, к сожалению, не очень много.

Весною 1992 года в Нью-Йорке была объявлена всемирная конференция, посвященная двухсотлетию со дня рождения Шелли. Я получила приглашение принять в ней участие и, к собственному великому удивлению, в один прекрасный день очутилась в одном из отелей в центре города.

На конференции выступали сплошь широко известные люди, авторы выдержавших несколько изданий книг. Я очень нервничала. Меня поддержала неожиданная симпатия пожилого немецкого профессора из Гейдельберга Хорста Меллера, многие годы учившегося и работавшего в Америке.

Когда настал «мой» час, я сказала: «Дамы и господа! Должна предупредить вас, что вы имеете дело с профессиональной лгуней. Во-первых, я представляю не Петербургский университет, как сказано в программе, а Педагогический институт имени Герцена; во-вторых, мой доклад написан в соавторстве с моим другом и сотрудником Александром Чамеевым, а в-третьих, называется „Элегия Шелли «Адонис»“, а не так длинно и академически нудно, как объявлено».

Доклад прошел хорошо и вызвал живую полемику. После окончания конференции я поехала на неделю к знакомому мне по пребыванию его в Петербурге профессору Макдональду из университета города Ричмонд (Вирджиния). Там я безвылазно проводила время в библиотеке, кидаюсь на книги, как человек, испытывавший от голода, но все же невозможно взглядела на американский Юг.

Я увидела остатки старых рабовладельческих плантаций, мне показали одну из полей сражения южан и северян. Я с изумлением смотрела на заваленные цветами памятники генералам армии Юга и осознала сложность проблем, не решенных и спустя столетия.

На обратном пути я провела несколько чудных дней в Бостоне у Тани Амелиной.

После лета, прошедшего отчасти среди детей и внуков в Ушкове — у Миши и Ниночки было уже третье дитя, головала Леночка (она же Монострик, или Маленькое чудовище) — и отчасти в любимом Кясму, я вдруг снова оказалась в пути.

В мой дед вмешался мой младший сын Митя. При внешней суровости, он всегда заботился обо мне. Как и его брат, он — в трудных материальных обстоятельствах России на переломе тысячелетий — стал много ездить «по разным заграницам». Он, в частности, ездил в Англию, где познакомился с профессором физики Даремского университета и попросил его устроить мне приглашение как профессору-филологу.

Кроме Мити, мне очень помог проректор герценовского института профессор Лаптев. Он дал мне нужное разрешение и распорядился об оплате билетов туда и обратно.

Я приехала в Лондон в октябре и сразу, с помощью любезных прохожих, отыскала автобус, на котором всего дешевле можно было добраться до Дарема. Я ехала на втором этаже, с восторгом смотрела на бесконечную дорожку и дуга, так не похожие на все привычное мне в России.

В пути я сообразила, что знаю только адрес: «Тревельян¹¹ колледж», но не знаю, как туда попасть с остановкой автобуса. Я попросила молодого человека, соседа, на одной из остановок позвонить начальнице колледжа (the Principal) и попросить ее послать кого-нибудь встретить меня в девять часов.

Он позвонил и затем смущенно сообщил, что начальница велела мне ехать самой и взять на остановке такси.

Вскоре после этого ко мне подсел средних лет мужчина, оказавшийся начальником полиции. Мы вступили в беседу, превращающуюся только на остановку. Никакого такси и близко не было, а у меня были чемодан и сумка.

Увидев мою полную растерянность, мой полицейский попросил меня подождать немного, пока он возьмет свою машину, и за несколько минут доставил меня по месту назначения.

Дверь мне открыл швейцар (porter), явно предупрежденный, проводил меня в мой апартамент, научил открывать и закрывать дверь, показал мне, что в холодильнике есть еда, и ушел.

Я с интересом оглядывала свои новые владения. Они состояли из крохотной спальни, где помещались лишь большая двуспальная кровать, платиновый шкаф и столик с зеркалом, и комнаты побольше (living-room) с письменным столом, обеденным столиком, стульями и креслами, диваном и книжным шкафом. Были, разумеется, туалет и ванная комната.

Я растерянно ходила по новому дому, когда вдруг зазвонил телефон. Раздался уверенный женский голос — голос начальницы колледжа. Она попросила разрешения зайти ко мне, тут же пришла, показала, как приготовить чай и что взять из холодильника, и после короткого неприятливого разговора ушла, оставив меня в полном недоумении.

К концу моего пребывания, когда мы уже были хорошо знакомы, я спросила ее: «Извините за любопытство, но почему вы, отказав мне во встрече, тут же пришли ко мне?» Она сказала: «От вас звонил какой-то

¹¹ Само имя «Тревельян» (Trevellan) было мне хорошо знакомо. Так звали известного историка Англии, одна из книг которого была даже переведена на русский язык.

кокин¹² — я поняла, что это ваш муж, и вы, следовательно, не леди. Но швейцар позвонил мне, когда вы приехали, и сообщил, что прибыла настоящая леди (a perfect lady). Вот я и пришла!»

В течение моего почти двухмесячного пребывания она была ко мне добра и внимательна, пригласила принять участие в назначенной в колледже литературной дискуссии и прислала мне нужные книги. Когда я уезжала, она провела меня на машине до остановки автобуса вместе со священником колледжа.

Само понятие «колледж» не имеет у нас соответствий: это место, где живут студенты двух-трех близких по специальности факультетов, а также гости из разных университетов Англии или других стран. В каждом колледже есть библиотека, но занятия проходят на факультетах университета, с колледжем не связанных. Там сдаются экзамены и зачеты, пишутся, критикуются, оцениваются научные сочинения, защищаются дипломные работы.

В колледже студенты живут, общаются, развлекаются, едят. Завтрак (девять часов), ланч (час дня), обед (шесть часов) проходит в столовой, и студенты сами обслуживают себя, так же, впрочем, как и преподаватели, которые едят то в маленькой комнате, совсем отдельно, то на возвышении над студенческой столовой. Раз в неделю происходит торжественный обед, на который приходит начальница, и тогда преподаватели сидят в зале вместе со студентами.

Я участвовала в дискуссиях, в беседах преподавателей в их маленькой столовой, присутствовала на лекциях, читавшихся приезжими знаменитостями, и сама, по просьбе преподавателей кафедры русской литературы, читала лекции для маленьких групп — о Чехове, о Льве Толстом. Регулярно посещала я серию лекций-докладов приезжих профессоров о Шелли в связи с его юбилеем.

Приезжали ко мне в Дарем Генри Гиффорд с женой. Они спали на моей двуспальной кровати, а я — на диванчике в гостиной. Это была встреча друзей. Мы ходили гулять, он купил мне несколько книг, познакомил со своими друзьями. Встреча эта была последней, вскоре Генри умер.

Немногом меньшее значение, чем университет и колледжи, в жизни Дарема имел собор, в 1993 году отпраздновавший свое тысячелетие. Настоятель собора энергично содействует культурной жизни города;

¹² Кокин — старое, уже вышедшее из употребления обозначение лондонцев из низших слоев общества, высмеиваемых за вульгарность речи, в частности, произношения.

после службы почти всегда принимает в одном из приделов собора известных деловых и ученых людей.

На один из таких приемов была приглашена и я. Меня познакомили с настоятелем, и на другой день я получила от него письмо, в котором он сообщил, что в Москве был гостем патриарха Алексия II и что Алексий («a perfect gentleman») тоже был у него в Дареме с визитом.

Я по субботам часто ходила в собор; с волнением слушала светскую и церковную проповеди, участвовала в пении гимнов и псалмов, стоя на коленях на пристроенных к каждому креслу кожаных подушечках. В каждом кресле уже до начала службы лежали Библия и Новый Завет и тексты проповедей, гимнов и псалмов.

Звуки органа, пение хора детей, женщин и мужчин, голые стены, лишенные каких бы то ни было икон и изображений, торжественные процессии, в которых первыми шли дети из хора, хористы, студенты, преподаватели и последним епископ, — все это производило неизгладимое впечатление. Я часто думала, что, оставшись я навсегда в Англии, я бы прислушалась к англиканской церкви.

Настоятель собора почтил меня посещением моей прощальной лекции (об Одисее Хаксли). Вообразите только мой страх: я стою на возвышении — по счастью, за кафедрой. Внизу в зале сидит более ста человек. Я должна им сказать что-то новое и важное об их писателе!

Я начала так: «Я впервые познакомилась с Одисеем Хаксли шестьдесят лет назад, когда преданная своему делу преподавательница прочитала нам его рассказ». И я привела несколько фраз — грустных, остроумных, блестящих, музыкальных. Я старалась передать трагедию Хаксли, его отчаянные поиски выхода из мирового неблагополучия и печальный вывод: в конце концов единственное, что он может сказать людям, — «будьте хоть немножко добрее друг к другу» (be a little kinder).

Все слушали, словно замороженные. Когда я кончила, одна из моих знакомых, бывших преподавателей, попросила меня проводить ее. Плаза ее были полны слез. Мы прошли в гардероб, она надела пальто, отколола от пальто брошь, так что оно распахнулось на груди, и отдала мне.

В мою честь был торжественный обед (с участием настоятеля собора), а на другой день руководитель кафедры пришел проститься со мной, поцеловал мне руку и сказал: «It was a triumph!» Я получила столько похвальных писем и благодарностей, что они не влезли в мой почтовый ящик, и я подбирала их с полу.

По традиции колледжа приглашенный профессор накануне отъезда устраивает прощальный пир. Заказать его мне помогал заместитель начальницы колледжа по хозяйственной части. Он очень беспокоился,

чтобы я не потратила много денег, и все свелось к большому числу бутылок вина и легких закусок.

Нетронутые бутылки были для меня упакованы, и я отвезла их своим лондонским знакомым, милым гостеприимным Биварам, у которых последние счастливые дни в Лондоне.

После этой поездки мне предстояли еще две, в середине 1990-х годов, в университет города Гейдельберга. Я уже упоминала, что познакомилась с профессором этого университета Хорстом Меллером на конференции в честь Шелли в Нью-Йорке. Там он очень заботился обо мне, всюду проходил, показывал мне город и потом пригласил читать лекции в своем городе. Мы до сих пор переписываемся. Я как-то рассказала ему, какой отпирательной оказалась мне ГДР в 1980 году. За две недели там я слышала только одну шутку от немецкого профессора, который показал мне конюшню статую Фридриха II и спросил: «Вы видите, кто сидит под хвостом у лошади? Конечно, ученые! Другого места им нигде не найти». Этот профессор оказался старым знакомым Хорста; он был очень рад, что я запомнила его шутку, и прислал мне веселое письмо.

Счастливые переживания не спасали от печальных наблюдений. Быстро ухудшалась экономическая ситуация в родной стране. Денег не хватало для самой скромной жизни, вклады в сберкассах превратились в ничто, в политике, для непосвященных во всяком случае, творилось нечто совсем непостижимое.

Квалифицированные специалисты все больше стали искать выход в отъезде из страны с большей стабильностью. Моя семья не стала исключением.

Начиная с 1990 года мой старший сын Миша, иногда вместе с женой и тремя детьми, а иногда один, стал ездить на заработки в Явонию, во Францию, в Америку. Перед их первой поездкой в город Монпелье во Франции я усердно учила французскому детей и Ниночку, и они проявили недюжинные способности. Своего старшего сына я пыталась начать учить французскому, когда ему было девять-десять лет, но он быстро отверг мои посягательства на его свободу. Как он потом объяснял, учила я его плохо — во всяком случае, хуже, чем ставшему мне родным английскому. Я до сих пор с глубоким огорчением вспоминаю свою неудачу и понимаю, как дорого он за нее заплатил, изучая язык в процессе работы и преподавания. Лишь через несколько лет он заговорил свободно, хотя иной раз и сейчас грешит ошибками.

Легче всего было маленькой Леночке. В возрасте четырех лет она сразу усвоила новый язык и теперь говорит по-французски едва ли не

лучше, чем по-русски. Жили они в маленьком приморском Паланасе, в десяти километрах от Монпелье.

После нескольких лет странствий Миша получил по конкурсу постоянное место профессора Университета Монпелье. В 1998 году они приехали всерьез: сняли квартиру, определили детей в соответствующие возрасту школы и коллежи, а в 1999 году в рассрочку купили белый каменный дом (вилла «Шармет») с густым садиком, с пальмами.

Теперь уже и Ниночка ведет исследовательскую работу в Академии наук и университете (Ingénieur de recherche). Их старший сын, Мишенька-младший, работает, но еще не определился в своем призвании. Катенька учится в Экономической школе в Париже, Леночка в лицее.

Таким их положение теперь. Двой своей они полностью выкупили и о возвращении в Россию не помышляют, хотя сохраняют двойное подданство и охотно ездят в Петербург. К сожалению, Россия потеряла очень много нужных ей людей — прежде всего исследователей.

Мой младший сын Митя тоже стал опытным путешественником, но, по счастью, не обрел нового отечества. Он провел много лет в Америке, в Германии (главным образом в университете города Бохум). Восемь лет он прожил в Дании, работая в институте теоретической физики в Копенгагене.

Ему необыкновенно повезло: датская Королевская академия наук предоставляет выдающимся ученым бесплатное жилье в великолепной вилле Карлсберг с обширным парком. Когда-то на этой вилле жил великий физик Нильс Бор. Митя получил такое право и жил там с женой Наташей, моей племянницей, все более утверждавшейся в своем призвании художницы, и с сыном Андрюшей. Была там и я, бродила по дивному парку и один раз наткнулась на маленький оригинал знаменитой статуи «Русалочка».

В 2005 году Митя, по деловым и семейным обстоятельствам, вернулся в Россию. Они с Наташей развелись, она вышла замуж за состоятельного адвоката и бизнесмена Питера Кьергора-Петерсена. Андрюша окончил школу, а сейчас перешел на последний курс Технического университета в Копенгагене. Митя же по возвращении в Петербург женился на Татьяне Ивановне Максименко, талантливом режиссере документальных фильмов, моложе его на шестнадцать лет.

Одной из причин его возвращения было нежелание, чтобы я жила одна. При всей его строгости он беспокоился обо мне. И было из-за чего. Второго мая 1999 года внезапно умер Игорь Михайлович. Он заснул в обычное время и не проснулся. Когда я утром вызвала неотложную помощь, они сказали, что жить ему осталось не больше двух-трех часов. Так, спокойно и ровно дыша, не приходя в сознание, он отошел в мир иной.

Его смерти предшествовала долгая болезнь, начавшаяся с перелома шейки бедра в январе 1997 года. Несмотря на удачную операцию, он почти не мог ходить; сознание, память стали изменять ему; прежняя яркость мысли уходила. Наши поездки в любимое Кязму прекратились; мы проводили лето в Ушкоре, где наши дети почти уже не бывали. Одна только старшая Митина дочь, Веронька, делила наше одиночество.

Проводить в последний путь Игоря Михайловича пришли сотни людей; годовщины его смерти и рождения неизменно отмечают в Институте востоковедения. Он остался жить не только в науке — книги его часто переиздаются, — но и в своих учениках, сыновьях и внуках.

Для меня годы его последней болезни были очень тяжелыми, и я никогда не прошу себе, что была недостаточно внимательна, ласкова, заботлива, позволяла себе не открываться от моих все расширявшихся научных занятий, от общения с друзьями, подругами, преданными студентами и аспирантами.

Увы, нет ничего бессмысленной запоздалого раскаяния! Теперь, когда я вступила в десятый (и, молю Бога, — последний) десяток своей жизни, я, к общему и собственному удивлению, продолжаю работать. Контракт со мной заключен до лета 2012 года.

Я уже не в силах читать лекции и последние восемь лет только руковожу аспирантами, магистрами, докторантами. Их набирается до десяти-двенадцати человек. Мне странно вспоминать, каким популярным лектором я была... Как это я могла?

Помню, лет десять назад я пришла в герценовский очень простуженная и говорить могла только совсем тихо. До лекции, в коридоре, я пошла к одной из своих студенток и попросила ее сказать товаркам, чтобы они сели поближе — в длинной аудитории акустика была плохая. Когда я вошла, моя кафедра стояла в середине зала, а студенческие столы кругами располагались вокруг нее. Неудивительно, что читала я с полным самозабвением. Тогда же неизвестный прислал мне такие стихи:

За дерзость нас, пожалуйста, прости!
Ваш голос тих, но мы хотим сказать,
Что если вы и вовсе замолчите,
Молчанью будем вашему внимать.

Иногда восхваления были смешные. Один мой бывший студент при случайной встрече долго вспоминал мои педагогические достоинства и закончил так: «А самое главное — встретишь вас зимой во дворе, а у вас руки теплые!»

Шутки шутками, но я рада и горда тем, что последние мои усилия отданы герценовцам, верным просветительским устремлениям того, чье имя они носят. Я тоже постараюсь до конца учить всему, что могу, хотя понимаю еще лучше, чем раньше, как мало знаю.

После смерти Игоря Михайловича я пять лет жила одна — два года с одной и три — с другой из моих «депочек» — бывших моих учениц. С 2000 года я стала каждое лето ездить на шесть-семь недель в Монпелье, к сыну моему Мише и его замечательной жене. Живу как у Христа за пазухой в роскошной гостевой комнате, всегда пишу что-нибудь (в этом году — статью о творчестве Эдварда Моргана Форстера). Первые пять лет я много занималась английским с внуками, но теперь они все выросли: даже Леночка уже семнадцать лет.

Дома меня ожидают мой сын Митя, его жена Тани — теперь тоже Дьяконова — и Танина дочка Кристина четырнадцати лет, которую я учу английскому. Она славная, умнишкая, ни на кого не похожая девочка, автор стихов:

Dear Granny Bear, I love you
And I love our lessons too!

Таня — яркий, интересный, одаренный человек и режиссер, автор большого числа документальных фильмов, в том числе фильма «Три товарища» (о Е. Г. Эткнуде, И. М. Дьяконове и их фронтовом друге Г. Ю. Бергельсоне). Обо мне она сделала превосходный фильм под названием «Леди Нина». Пригласила она на него по телефону так: «Говорит Татьяна Дьяконова, злая невестка Нины Яковлевны. Приходите...» В настоящий момент она снимает документальный фильм об Абхазии!

Не забывают меня старые ученицы — приходят каждую субботу на два-три часа болтать по-английски. Мы много смеемся и радуемся друг другу. Все они — Оля Профе, Оля Исхакова, Таня Иосифова, Катя Левченко, Оксана Абрамова, Маша Крылова, Светлана Букреева — работают в солидных фирмах, преподают английский сами, но они по-прежнему «мои девочки».

Однажды я по какому-то поводу спросила их: «А вы не заметили, что моя главная добродетель... скромность?» Ответом мне был взрыв хохота. Преподавание, университетское и домашнее, было, по-видимому, главной движущей силой моей жизни. Мне кажется, что такой выбор был определен не только пристрастием, но и восприятием его как священной обязанности интеллигенции.

Мысли о ней и о моей к ней принадлежности появились у меня очень рано. В 1929 или 1930 году от дядюшки-журналиста мне досталась книга со скучным названием «Горький о писателях». Я взялась за нее неохотно, но вдруг увлеклась.

Горький рассказывает, что шел по аллее Летнего сада и на скамейке увидел Блока, который шляпой ловил солнечные лучи. Заметив Горького, Блок вскочил и стал вместе с ним ходить взад и вперед; он заговорил «о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения», на что Горький возразил: «Всегда, ныне и присно, наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой лошади истории». Эта фраза потрясла меня тем, какую важную роль Горький отводит интеллигенции, к которой я себя относил, и я стала размышлять, смогу ли я оправдать это звание. Я всегда о нем помнила и старалась ему соответствовать. Надеюсь оставаться ему верной до конца дней, отпущенных мне Богом.

2008–2009

Нина Яковлевна Дьяконова

МИНУВШИЕ ДНИ

Редактор *Л. А. Соловьева*

Корректор *Г. С. Якушева*

Технический редактор *Е. Ю. Кузьменок*

Художественное оформление *С. В. Лебединского*

Подписано в печать 21.09.2009. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 6,5. Тираж 200 экз. Заказ №1207

Факультет филологии и искусств СПбГУ.
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11.

Отпечатано в типографии «Нестор-История».
Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, тел. (812) 622-01-23.

Минувшие дни

Н. Я. ДЬЯКОНОВА

ISBN 978-5-8465-0928-3



9 785846 509283